
МАРК МАЦКЕВИЧ
Третья
Жена
Некроманта
18+

Реестр Вельмара (однотомники)

Марк Мацкевич

Третья жена некроманта

«Автор»
2026

Мацкевич М.

Третья жена некроманта / М. Мацкевич — «Автор», 2026 — (Реестр Вельмара (однотомники))

Две прежние жены некроманта живы. Но по бумагам обе умерли и теперь не могут ни уехать, ни лечиться под собственным именем.Я ревизор и привыкла проверять чужие ведомости. Чтобы добраться до семейной книги Тибо Мора и оспорить эти записи, мне придётся стать его третьей женой. Отдельная комната, свой ключ, оплата по дням. Обычный подряд, правда?Только в доме у кладбищенской стены бледнеют имена. А Тибо заботится обо мне так, что всё труднее помнить об условиях договора. И самые важные ответы оставляет при себе.Я собиралась вернуть двум женщинам право жить. А теперь в старой книге появилась строка с моим именемОднотомник, можно читать отдельно.

© Мацкевич М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пустая графа 6
Глава 2. Оговорка 12
Глава 3. Условия подряда 17
Глава 4. Ведомость на четверых 23
Глава 5. Особая форма 29
Глава 6. Порог 35
Глава 7. Уплачено городу 41
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Марк Мацкевич
Третья жена некроманта

Третья жена некроманта
Марк Мацкевич

Глава 1. Пустая графа

К тому утру осенний дождь шёл четвёртые сутки, а заказов у меня не было уже одиннадцать дней.

Контора стояла на Чернильной улице, между переплётчиком, который брал за работу вперёд, и часовщиком, который брал вперёд и не работал. Окно выходило на мостовую. В дождь улицу за стеклом можно было считать отменённой. В углу под потолком капало в жестяную кружку. Хозяин обещал прислать кровельщика в понедельник, и с тех пор понедельник наступал уже трижды.

Утром я разбирала свои квитанции. Дела в этом не было никакого, разве что порядок. За три месяца вольной практики набралось шесть ведомостей: две от мельника, одна от вдовы шорника, три от гильдии лодочников, которая хотела знать, кто из её казначеев ворует, а узнав, расстроилась. В шести ведомостях нашлось четыре ошибки, и две были не в пользу заказчика. Нанявший ревизора хочет услышать, что его обокрали; услышать, что он сам недоплатил, не хочет никто.

Весы лежали на столе в раскрытом футляре. Карманные, латунные, чашки размером с медяк, гирьки в бархатных гнёздах, самая мелкая легче ресницы. Достались они мне в первый год службы в Палате, от старшего ревизора, которому дрожь в руках больше не позволяла ими пользоваться. Он отдал их со словами: «Они не врут, но и не подсказывают». Я долго считала это наставлением. Это была инструкция.

Свои бланки я уже проверила: девятнадцать гран, рыхлая бумага, на свет видны волокна. Казённая квитанция весила двадцать восемь. Раньше мне приходилось ловить по этой разнице подменённые листы. Сегодня я перебрала весь ящик безо всякой надобности и закрыла его, чтобы не начинать снова.

В дверь постучали один раз.

Вошедшая была в тёмном дорожном плаще, мокром до колен, и в перчатках. Плащ хороший, из плотной шерсти, с подкладкой, которая перестала быть новой лет пять назад. Перчатки дорогие. Обувь не для нашей улицы: тонкая подошва, на такой по Чернильной не ходят — по ней переходят от кареты до порога. Кареты за окном не было. Ноги она промочила насквозь: тёмные полосы на коже до самого подъёма.

Лицо у неё было молодое и усталое. Возле рта легли складки, с которыми не совпадали ни гладкий лоб, ни ясные глаза.

— Госпожа Керн, — сказала она.

— Да.

— Я долго искала того, кто согласится.

— Вы нашли того, кто сидит в конторе, — сказала я. — Соглашаюсь я не всегда.

Она кивнула, будто именно этого и ждала, и села, не дожидаясь приглашения. Стул под ней скрипнул. Он скрипел под всеми, но под ней тише. Перчатки она стянула по пальцу и положила рядом, ладонями вниз. Потом из-под плаща появилась сложенная пополам бумага, и бумага легла на стол между нами, ровно посередине.

Руки у неё были плохие. Не больные — старые. Тонкая кожа, сквозь которую видно синее, мелкие трещины у ногтей, в трещинах въевшаяся бурая краска, которую не берёт мыло, суставы чуть крупнее, чем нужно. Такие руки были у моей тётки, которая сорок лет держала иглу и в шестьдесят перестала разгибать мизинец. Этой женщине не было и тридцати пяти.

— Я хочу нанять вас для одного дела, — сказала она. — Небольшого. Нужно вынуть из Палаты Реестра две записи.

— Какие?

— О смерти.

Я подождала. Она не добавила ничего. Сидела и смотрела, как с её плаща капает на мой пол, и капли там уже собирались в лужицу, которая через минуту доберётся до ножки стола. Она явно приготовилась отвечать по порядку. Я развернула бумагу.

Это была квитанция Палаты, обычная, на мелких печатях, такие выдают за любую регистрацию, от рождения до продажи козы. Я прочитала её дважды. Написано было одно и то же.

«Принято от подписчика: Мор Тибо, смотритель кладбища при старой стене. Основание: погребение. На имя: Вета Мор, тридцати одного года, жена смотрителя. Уплачено: пошлина в полном размере».

Ниже шла графа, которую в таких квитанциях заполняют всегда: без неё Реестр не знает, на какой участок списать землю и с кого спрашивать за ограду. Где погребён.

Графа была пуста.

Не зачёркнута, не залита, не выскоблена. Печатная строка, а после неё ничего: полоса бумаги до самого поля. Внизу стояла дата: три года назад, осенью, и печать писаря четвёртого окна.

Весы я взяла раньше, чем решила взвешивать.

Квитанция легла на чашку и потянула вниз. Гирьки я ставила по одной, пинцетом, мелкие последними: двадцать восемь гран. Ровно столько и весит реестровая бумага с водяным знаком. На свет проступил знак: башня Палаты и три волнистые линии, с разрывом на второй, как в выпусках того года. Печать не смазана, оттиск глубже с левого края, как у штемпеля четвёртого окна.

Квитанция была настоящая.

Из ящика стола я достала блокнот и переписала из неё то, что можно проверить: число, номер окна, отметку об уплате, имя подписчика. Квитанцию заполнили мелким ровным почерком, с одинаковыми промежутками между буквами. Внизу другим нажимом было вписано полное имя Тибо Мора. Чья рука заполнила весь лист, я ещё не знала: ровность букв не заменяет образца для сличения.

Потом я встала и сняла с полки свою служебную тетрадь за тот год. Она стояла крайней, и на верхнем обрезе лежала пыль ровным слоем: за три месяца её не трогал никто, включая меня.

Тетрадь уносить не полагалось, но вернуть её никто не потребовал. В ней были мои рабочие выписки из сводок погребений по всем городским участкам, по дням: сколько могил открыто, на чьей земле, по какой квитанции и кто из смотрителей вечно путает ограду с надгробием. Пошлины шли в другую книгу. Сюда попадало только то, что легло в землю.

Нужный день нашёлся быстро: той осенью старая стена хоронила меньше всех участков, и я ходила к старшему спрашивать, не потерялась ли сводка. Не потерялась. Против старой стены за нужный день стоял прочерк. И за всю неделю — тоже. Мой, ровный: так я тогда всё делала.

Ногтем я провела по прочерку: не стёрся.

Под этой сводкой в Палате лежал мой акт полноты. Я помнила, как подписывала: конец рабочего дня, свёрнутые приложения, старший торопил сдать книгу. Суммы я пересчитала. Первичных заявлений о смерти не потребовала. Проверила то, что принесли, и написала, что принесено всё. Теперь разница между этими двумя действиями лежала передо мной на столе.

За чужое заявление я не отвечала, сказала я себе. Это было верно. К собственной подписи это ответа не давало.

В указанный в квитанции день смотритель кладбища заплатил полную пошлину за погребение жены. И в тот день на его кладбище не хоронили никого.

Кружка в углу переполнилась и ударила каплей о жесть. Я закрыла тетрадь и положила на неё ладонь.

— Кто вы ей? — спросила я.

— Никто, — сказала гостья. — В этом и дело.

— Тогда откуда у вас её квитанция?

— Это моя квитанция.

— Вы Вета Мор?

— Я Вета Мор, — сказала она. — В записи тридцати одного года, жена смотрителя. Теперь тридцати четырёх. Три года как умерла. Похоронена за счёт мужа, пошлина в полном размере, — она чуть повела подбородком в сторону бумаги, — вот здесь.

На моих весах лежала её смерть — двадцать восемь гран.

У ножки стола расползалась лужица. Вета промокла, устала, и руки у неё были шестидесятилетней женщины. Я подвинула ей кружку с остывшим чаем. Она не взяла.

— Вторая запись, — сказала я. — Вы сказали, их две.

— Вторая — Рагна Мор. В записи двадцати трёх лет, сейчас двадцати пяти. Её записали полтора года назад, весной. Тот же подписчик, то же окно.

— Тоже жена смотрителя?

— Тоже.

— Одновременно с вами?

— После меня, — сказала Вета. — Я ушла. Потом меня записали умершей, и мой брак кончился. Он женился на Рагне. Потом такая же квитанция оказалась у неё. У нас с ней даже дни смерти разные, госпожа Керн. Хоть в этом порядок.

Почему она пришла одна, я не спросила: было понятно, что ответ мне не понравится. В блокноте появилась вторая строка: Рагна Мор: в записи двадцать три, сейчас двадцать пять; весна, полтора года назад. Номера записи у Веты с собой не было, и место для него я оставила пустым. Перо скрипнуло на «весне», бумага там была с узелком.

— Он вас развёл?

— Нет. Мёртвых не разводят, их вычёркивают. Брак кончился записью о смерти. Так написано в уставе, вы его знаете лучше меня.

Я его знала. Это не делало его приятнее.

Дождь пошёл сильнее. За стеной переплётчик ругался на небо и на хозяина. За три месяца это был первый заказ, который нельзя решить арифметикой.

— Чего вы хотите от меня, — спросила я, — если по-честному?

— Чтобы эти две записи отменили. Чтобы у меня и у Рагны снова были имена. Чтобы Рагна могла лечиться по своему имени, а не по чужому, и чтобы я могла купить билет на баржу без того, чтобы врать кассиру.

— Он может отозвать своё ложное заявление, — сказала я. — Вам не пришлось бы искать ревизора.

— Может.

— А вы сами подавали?

— Дважды. В первом окне меня отправили в четвёртое. В четвёртом сказали: у заявительницы нет действующей записи о личности. Я показала лицо. Писарь попросил документ.

— Тогда пусть отзовёт он.

Она не ответила. Просто сидела и молчала, и молчание было такое, после которого обычно уже ничего не добавляют. Я добавила.

— Почему он не отзывает заявление?

— Мне не ответил, — сказала Вета. — Вам придётся спросить его.

Я записала в блокнот: «Первоначальный заявитель не отзывает». И рядом: «Причина неизвестна. Спросить его».

— Я не возьму это дело, — сказала я.

Вета смотрела терпеливо, ожидая объяснения.

— Скажите причину, — попросила она.

— Их две. Первая: пока я не могу удостоверить вашу личность. Квитанция выглядит подлинной. В моей тетради есть прочерк. Значит, пошлину приняли, а в сводку погребение не попало. Это требует проверки по первичным бумагам, и по вашим тоже. Я не видела ни одного вашего документа, кроме бумаги, где вы мертвы.

Слова «по первичным» вышли громче остальных. Вета положила ладонь на квитанцию, и я увидела, что ей хочется забрать её. Пришлось убрать руки со стола.

— А вторая?

— Я могу сверять ведомости, но от своего имени протест на семейную запись не подам. Вас считают умершей, а с вашим мужем я в родстве не состою. Моей доверенности от вас они не признают, пока не признают вас саму.

— Значит, сначала мне нужен голос, чтобы попросить вернуть голос?

— Да, — сказала я. И только после ответа услышала, как это звучит.

Она кивнула, медленно, будто ставила галочку.

— Вы проверили всё, что можно взять в руки, — сказала она. — Бумагу, вес, — она посмотрела на футляр, — печать, свою старую тетрадь, прочерк под ногтем. И ни разу не спросили, где я живу.

Я не спросила. Я заставила себя посмотреть ей в лицо.

— Где вы живёте? — спросила я.

— За рекой, — сказала Вета. — По бумагам женщины, которая умерла по-настоящему. Её имя я не назову даже вам: за него её детям платят пенсию. Работаю у красильщика. Отсюда у меня руки.

Это объясняло трещины. Возраст не объясняло. В блокнот пошло слово «красильня», а второе я отнесла на отдельную страницу, где у меня живут вопросы.

— Ирма Вейль сказала, вы умеете сверять городские книги, — сказала Вета. — Мне не нужен человек, который просто поверит. Такие уже верили. Мне нужен тот, кто дойдёт до конца.

Ирма знала, где найти людей, которым не платят. Видимо, на этот раз она решила познакомить их между собой.

— Проверить я могу, — сказала я. — А кто подаст протест, если он снова откажется?

Тогда она достала вторую бумагу. Свёрнутую вчетверо, затёртую на сгибах до мягкости. Разгладила ребром ладони и положила рядом с весами.

Это была рукописная копия уставной статьи. Статья 41, «О смерти и записи». Переписано чисто, без помарок. Буквы были похожи на те, что в квитанции: мелкие, ровные, с одинаковыми промежутками.

— Это он переписывал? — спросила я.

— Он, — сказала Вета. — Давно. Для себя.

— Как она у вас?

— Лежала на столе, — сказала Вета. — Он оставил.

Статью я знала наизусть. Читала я её всё равно, потому что она лежала у меня под рукой.

— «Запись о смерти, внесённая по заявлению супруга, может быть опротестована другим супругом того же дома», — прочитала я вслух.

— Того же дома, — повторила Вета. — Дом-то остался.

Обычно по этой статье спорил второй участник семейной записи, если первый объявлял его умершим. Только умершему сначала велели доказать, что он вправе спорить. Я знала этот круг. Вета указывала на другие три слова.

— Вы хотите, чтобы протест подала действующая жена смотрителя, — сказала я. — На его прежние заявления.

— Да.

— Это ещё придётся отстоять. И действующей жены у него нет. Обе записи прекратили браки.

— Пока нет, — сказала Вета.

Тут я поняла, что от меня хотят, и некоторое время просто сидела. За стеной у часовщика тикало: единственное, что у него работало.

— Вы предлагаете мне, — сказала я, — выйти за него замуж.

— Да.

— За вашего бывшего мужа.

— За смотрителя кладбища при старой стене, Тибо Мора, тридцати восьми лет, — сказала Вета так, словно зачитывала квитанцию. — Вдовца. Дважды. Вы будете третьей.

— В тридцать пять лет я ещё способна выбрать мужа без устава, — сказала я. — До сих пор справлялась тем, что не выбирала.

— Тогда сначала выберите дело, — сказала Вета. — Мужа я вам не хвалю.

Я молча сложила копию вдоль старого сгиба.

— Если он откажет, — спросила я наконец, — что я получу, кроме прочерка в тетради?

— Ничего, — сказала Вета. — Но в доме есть караульная книга. В ней четыреста лет записывают, кого положили у старой стены. Семейный лист тоже там. Смотритель и действующая жена могут требовать её без чужого разрешения. Мне теперь не дают даже этого.

— Прочесть, выписать и подать независимо от него?

— За этим я и пришла.

— А если там написано, что хоронил?

— Тогда вы вернёте мне квитанцию и будете правы, — сказала она. — Я плачу как за акт. Двадцать талеров. Вперёд не дам: у меня нет вперёд. После — дам.

Она встала. Плащ перестал капать. Вета медленно натянула перчатки и у двери обернулась.

— Госпожа Керн, — сказала Вета. — Вы не спросили, почему не пришла Рагна.

— Почему?

— Она кашляет, — сказала Вета. — Ей двадцать пять. В лечебнице под своим именем не примут, а под чужим в бумагах другой возраст. Она хотела идти со мной. Я попросила её остаться.

— Когда вы узнали о своей записи?

Вета уже держалась за дверную ручку.

— Через неделю. У аптекаря. Он сироп не выдал: сказал, я умерла. Муж сказать не счёл нужным.

Я записала и неделю, и аптекаря. На этот раз Вета дождалась, пока я закончу.

Дверь закрылась. Стука я больше не слышала — только дождь.

Квитанцию она оставила и копию статьи тоже. Такие женщины на чужом столе ничего не забывают, они оставляют.

Копию я перевернула. На обороте, другим почерком — крупным, с сильным наклоном, торопливым, совсем непохожим на руку смотрителя, — было написано: «Красильня Гедды, за рекой, третий дом от причала. Лодка три медяка. Спросить Вету». Ни фамилии, ни подписи. С образцом Ветиной руки я её ещё не сравнивала. Смотритель, судя по лицевой стороне, писал иначе. На странице вопросов появилось: «Кто написал адрес?»

Лист я убрала в папку с квитанцией. Он был дешёвый, рыхлый, на сгибах протёртый до ворса. В Палате такую бумагу употребляли для черновиков; дома — для всего. Места, где его исписали, это не выдавало.

Потом открыла книгу заказов, которую не открывала одиннадцать дней. Корешок хрустнул, и книга легла открытой на лодочниках: дальше в ней ничего не было. Чернила за эти дни загустели, перо шло туго. Под строкой про лодочников я вывела число, «Мор, старая стена» и

«проверка двух записей о смерти, ст. 41». Против «согласия клиента» поставила дату. Против «моего согласия» не поставила ничего.

Две пустые строки за один день. Первую я собиралась проверить. Со второй было сложнее.

Я убрала весы в футляр, надела плащ, который в отличие от Ветиного не был ни хорошим, ни дорогим, и пошла в Палату — к четвёртому окну, где три года назад кто-то принял пошлину за погребение и не спросил, где.

Глава 2. Оговорка

К четвёртому окну я опоздала на четверть часа. Его закрывают в пять, и писарь за стеклом, молодой, с чернильным пятном на манжете, показал мне сначала на часы, а потом на дождь. Дождь к этому делу отношения не имел, но так возражать удобнее. Квитанция весь вечер пролежала у меня в кармане и к утру пахла мокрой шерстью.

Утром контора была холодной: от окна тянуло мокрым камнем, а чернила за ночь загустели и шли с пера неохотно. Растопку я берегла для настоящих холодов, хотя пальцы уже плохо слушались. Сбережение двух поленьев стоило мне испорченной строки, и я внесла поленья в расходы. На подоконнике лежал мой устав, карманный, в клеёнке, с карандашными пометками за десять лет. Клеёнка отсырела и пахла подвалом. Я раскрыла его на сорок первой статье и увидела то, что видела всегда: подчёркнутые слова «того же дома», а на полях моим почерком «см. инстр. 12, п. 4».

Двенадцатая инструкция осталась в Палате вместе с пропуском, ключом от шкафа и привычкой, что за каждым словом устава стоит ещё одна бумага, где сказано, как это слово понимать. Десять лет я писала заключения по инструкции. Если бы меня спросили, что значит статья 41, я ответила бы, что она значит пункт четвёртый. Пункт четвёртый я помнила плохо, кажется, там было про сроки подачи. Без него статья оставалась просто словами, а слова, как вчера выяснилось, можно услышать по-разному.

Карманное издание к тому же было сокращённое. Примечания в нём выпущены, а составители прячут в примечаниях всё, о чём им неловко говорить в статье.

Полный устав был у переплётчика за стеной. Не его собственный: Гамм переплетал комплект для нотариуса с Мостовой и третий день жаловался на клей. Когда я вошла, тетради сохли на верёвке под потолком, прихваченные деревянными прищепками. Отпечатанный закон висел над головой, как бельё, и капал на пол клейстером.

— Сорок первая, — сказала я. — И дальше, сколько будет.

— Тетрадь шестая, — сказал Гамм, не поднимая головы от пресса. — За чтение я беру вперёд.

— Я знаю.

— Но вы не заплатите, — сказал он, — поэтому читайте даром. Корешок не трогайте.

Шестую тетрадь он снял сам и положил на чистую доску у окна. Свет там был серый и ровный, такой хорош для бумаги и плох для людей. Читала я стоя, не снимая перчаток, потому что клей был везде.

Статья 41 звучала так же, как в копии: «Запись о смерти, внесённая по заявлению супруга, может быть опротестована другим супругом того же дома».

Я провела ногтем под последними словами. Человек, который составлял эту строку, заботился о семейной книге, а не о числе жён смотрителя. Действующая жена принадлежит тому же дому, хотя заявление о смерти подано до её брака. Возражение на это наверняка найдут. Запрета я пока не нашла.

Сорок вторая разрешала внести смерть без осмотра тела, по заявлению родича или смотрителя и двум свидетельским подписям. Мне столько раз приносили сводки, составленные на этом основании, что я раньше читала только суммы в конце. Теперь за каждой суммой пришлось представить людей, которые якобы всё видели.

Сорок третья устанавливала порядок протеста. Подать его можно и на старую запись; давность сама по себе не превращала выдуманное погребение в настоящее. Если не попасть на ближайшее заседание, дело переходило на следующую сессию.

К тетради был приколот свежий печатный листок. Объявление об осеннем заседании вывесили вчера. Срок до него — сорок полных дней; сегодня оставалось тридцать девять.

Палата принимала старые протесты в тот же срок. Потом наступал Поворот года, а следующее заседание было уже после него.

— Этот лист можно взять? — спросила я.

— Это мой, — сказал Гамм. — Мне нотариус по нему срок поставил. Перепишите.

Я переписала дату и прижала листок на прежнее место. Необратимости в законе не было. Была долгая отсрочка, и Вете, которая не могла купить билет под своим именем, от неё легче не становилось. У Рагны с её кашлем лишнего времени тоже не было.

— Нашли? — спросил Гамм.

— Нет, — сказала я. — Искала запрет. Его нет.

— Это хорошо?

— Это быстро, — сказала я.

Перед уходом я попросила у Гамма бракованный оттиск сорок первой статьи. Он поворчал, что брак тоже денег стоит, и отдал лист со смазанным полем. Я положила рядом Ветину копию и сличила слово за словом. После «дома» стояла точка. За смазанный край ничего нужного не уехало.

— Мне потом за это ответ держать? — спросил Гамм.

— За чтение закона?

— За то, что дал вам бумагу. Вы с таким лицом.

Я сложила оттиск вчетверо, по сгибам копии.

— Если спросят, скажете правду. Я взяла брак.

Гамм посмотрел на меня и отвернулся к прессу. Только за дверью я поняла, что именно сказала.

Вернувшись к себе, я написала Ирме.

Ирма Вейль держит контору на Судебной, в доме с медной вывеской, за которую, по её словам, платит больше, чем за аренду. Мы не дружим. Мы обе так говорим, когда нас спрашивают, и обе правы. Если я хочу знать, что сказано в законе, я читаю закон. Если хочу знать, что из сказанного выдержит заседание, я пишу Ирме. Ошибается она реже меня, только ошибки у неё дороже.

Письмо вышло короткое: «Вета Мор была у меня. Проверяю ст. 41: действующая жена того же дома подаёт протест на прежние заявления смотрителя. Допустят ли такое основание? Нужен доступ к семейному листу без отзыва разрешения. Срок осенней сессии я проверила. Л. К.»

Я перечитала подпись. Три месяца назад от меня потребовали подписать очередную сводку без приложений, и я ушла из Палаты. Тогда казалось, достаточно перестать ставить подпись, чтобы прекратить участие. Старые листы, разумеется, остались в шкафах.

На почту при Палате есть ящик для конторских, и ответ кладут туда же, в ячейку под номером. Моя была сорок шестая, медная цифра на ней стёрлась до блеска чужими пальцами. Письмо я опустила в одиннадцать. К трём в ячейке уже лежал конверт: серый, плотный, холодный, как всё, что полежало в Палате, запечатанный облаткой, без воска. Ирма не терпит воска: долго, говорит она, и пахнет церковью.

Распечатала я его прямо у ящика, в общем зале, где пахло сургучом, мокрыми плащами и чужими долгами.

«Лида.

Вету направила к тебе я. Она спрашивала, кто умеет сверять муниципальные книги и не зависит от смотрителя. Я назвала тебя по обеим причинам, а ещё потому, что под актом полноты по старой стене стоит твоя подпись. Ты знаешь этот акт лучше меня. Если проверку начнут, его поднимут вместе с остальными бумагами. Сама запроси раньше.

Дело вести не возьмусь: я уже представляю интересы по другому спору с казной. Совет по подаче дам.

Твоё прочтение статьи 41 допустимо. Это основание принять протест, а не обещание его удовлетворить. Пиши: “Прошу принять к рассмотрению протест на записи о смерти, внесённые по заявлениям Тибо Мора, на основании статьи 41, как действующая супруга того же дома”. Номера впишешь после проверки. Семейную книгу приложи в выписке. Жена имеет самостоятельный доступ и не нуждается в новом разрешении мужа на каждое действие.

Первоначальный заявитель может отозвать ложные заявления сам. Почему он этого не делает, выясни прежде, чем подпишешь свою брачную запись. Согласие на ревизию и желание исправить всё — разные вещи.

Брак должен быть добровольным и действующим. Чувства Палата не проверяет. Расторгнешь до слушания — потеряешь основание по этой статье; затем пришлось бы искать другое и ждать следующую сессию. Вне дома жить можешь, это прав на книгу не отменяет.

И. В.»

Письмо я прочитала дважды, второй раз медленнее, и всё равно на строках об акте задержалась так, что ко мне подошёл служитель и спросил, не дурно ли мне. Я ответила, что нет, просто здесь мало света. Света там правда мало.

Акт я помнила. Три года назад через мой стол прошла сводка старой стены. Нули по погребениям, сходящийся итог, подписи принявших. Я сверила представленные листы, не спросила книгу поступления заявлений и удостоверила полноту всего пакета. Квитанции, которых в пакете не было, сверять с нулём было неудобно. Я этого и не сделала.

Стоя у почтовых ячеек, я сначала рассердилась на Ирму: могла бы предупредить перед тем, как прислала ко мне Вету. Потом свернула письмо и снова развернула. Мне хотелось застать себя в положении человека, который не знал. Не получилось.

Я не подтверждала смерть Веты и не подавала ложного заявления. Эти слова хорошо укладывались в оправдание. Но на моём листе было написано «полнота», и подпись под словом была моя.

Служитель попросил отойти от ячеек. За мной стояла женщина с ребёнком, которому не терпелось дотянуться до блестящей цифры. Я посторонилась и записала на подоконнике: «Запросить собственный акт. Первичные заявления. Книга поступления». Чернила на последнем слове расплылись от дождевой капли с рукава. Я не стала переписывать начисто.

В брачной записи будет моё имя — Лидия Керн. В протесте тоже. От мысли о том, что эти два листа положат рядом со старым актом, под пальцами похолодело. Я убрала руки в карманы и обнаружила там ключ от конторы. Его было удобно сжать.

Дождь к трём кончился, но мостовая этого ещё не знала. Домой я шла длинной дорогой, мимо Палаты, и на четвёртое окно смотреть не стала.

Живу я в двух комнатах над лавкой суконщика, и дома у меня всегда пахнет сукном, сколько ни проветривай. Сундук стоит в дальней комнате под окном, и на его крышке я обычно раскладываю бумаги, которые не помещаются на столе. Теперь бумаги пришлось снять и сложить на кровать, и выяснилось, что на кровати их больше, чем на столе.

Что берут с собой в дом, откуда вынесли двух живых женщин, я не знала. Ни в одном уставе об этом не сказано. В инструкциях Палаты сказано, что ревизор при выезде на участок берёт бланки, печать и смену белья. Бланков у меня больше нет, печать у меня забрали, так что оставалось бельё.

Бельё я положила первым, потому что оно ничего не значит, и легло оно без звука. За ним карманный устав в клеёнке, ещё сырой с утра, с пометками, которые теперь ссылались на то, чего у меня нет. Два карандаша и нож, чтобы их точить. Нож был холодный, с зазубриной у рукояти, которую я нахожу пальцем не глядя. Запасной блокнот, потому что первый уже наполовину исписан вопросами, а впереди у меня было больше вопросов, чем ответов. Весы.

Футляр с весами я подержала в руке дольше, чем следовало. Он лёгкий: латунь, сукно, две чашки и разновески в гнёздах, самая мелкая с маковое зерно. Старший ревизор отдал их

мне в первый год службы. За десять лет пользования я ни разу не уезжала без них на участок. Однажды взвесила на них письмо, которое не решалась вскрыть. Оно оказалось тяжелее обычного, я его вскрыла, и там было приглашение на свадьбу двоюродной сестры, на толстой бумаге с тиснением. Ничего страшного. С тех пор я знаю, что вес сообщает только вес. Всё остальное я додумываю сама.

Весы я положила поверх белья.

Тёплое платье, серое, шерстяное, с длинным рукавом, лежало на дне. Я достала его и встряхнула, и от шерсти пахнуло сундуком и прошлой зимой. Посмотрела на свет: моль его не тронула. Я подержала его, тяжёлое и колючее, и положила на кровать, под бумаги, которые не помещались на столе. Сорок дней кончатся раньше зимы. Так я себе сказала. Сказала вслух, потому что одна в комнате, и вслух выходило убедительнее. Я приготовила одежду для поездки, ещё не получив согласия на работу, и это раздражало сильнее холода.

Сундук я закрыла и села на крышку.

Тут мне и пришло в голову то, что я весь день откладывала, как откладывают счёт, который всё равно придётся оплатить. Завтра, послезавтра или когда он согласится, если согласится, я поселюсь в доме у кладбища при старой стене. Буду есть за его столом, спать под его крышей и мыть руки водой из его колодца. Человек, который похоронил двух жён, будет каждое утро спрашивать меня, хватит ли хлеба. Или не будет спрашивать. Голоса этого человека я ещё не знала.

Для меня он пока существовал в виде почерка. Мелкие ровные буквы без наклона, одинаковые промежутки, ни одной помарки в копии статьи, которую он переписал для Веты и оставил ей. Вета оставила мне эту копию. Ещё в виде двух квитанций, одну из которых я видела, тридцати восьми лет и должности. Больше у меня не было ничего.

И этого почерка хватило, чтобы весь вечер, складывая бельё, думать о нём дольше, чем за три месяца я думала о переплётчике, которого слышу через стену. Какие у него руки, если он так пишет. Что он скажет, когда увидит меня на пороге. Скажет ли что-нибудь вообще. Переписывал ли он сорок первую статью, уже зная, что одна из жён услышит её иначе, или переписывал, чтобы закрыть для себя вопрос, а вопрос открылся у неё.

Злилась я на себя всерьёз. Ревизор, который придумывает характер по почерку, ничем не лучше гадалки, которая придумывает его по ладони. Гадалка хотя бы берёт за это деньги.

Блокнот лежал поверх сундука. Я открыла его на последней исписанной странице и посчитала, раз уж села считать.

До заседания тридцать девять дней. Сорок дней дали вчера, и одного я уже лишилась. Пошлина за исправление одной записи — восемь талеров, за две — шестнадцать. Кто внесёт, придётся решить отдельно. Вета обещала двадцать после результата; сейчас я не получила от неё ни медяка. Поденную работу, если Тибо согласится, должен оплачивать он. Впереди был разговор, где мне следовало задать вопросы раньше, чем предлагать условия.

Я ещё могла отказаться. Возвращала бы квитанцию, снимала вывеску на ночь, приходила завтра считать чужую недоплату. Собственный акт от этого никуда бы не делся.

Под этим я вывела, ровно, как он пишет:

«Не жалость. Проверка».

Посидела. В лавке внизу суконщик опускал ставни, сначала одну, потом другую, и вторая, как всегда, заедала. Свеча на окне догорела до той метки, где я обычно её гашу, и я её не погасила.

Слова годились для служебного заключения, но в конторе сидела живая женщина с больными руками. Я вспомнила, как пододвинула ей холодный чай, и стало стыдно за это маленькое, ненужное усердие. Можно было хотя бы вскипятить воды.

Я взяла карандаш и зачеркнула слово «не».

Получилось: «Жалость. Проверка». Обе стояли в одной строке, через точку, и вычёркивать вторую я не стала.

Глава 3. Условия подряда

Третий дом от причала оказался красильней, а красильня оказалась закрыта. За воротами виднелась низкая пристройка с вывеской «Починка и перешив». В один двор выходили две мастерские; сейчас обе молчали. Над воротами сушились холсты: синие, бурые и один почти чёрный, с которого ещё капало на мостки. Я постучала один раз, как стучала Вета, и вышел мальчишка с руками по локоть синего цвета.

— Тётка ушла затемно, — сказал он. — Вам велела отдать.

Записка была сложена вчетверо. На внешнем сгибе крупно стояло «Керн», и мальчишка сначала попросил назвать фамилию. Вета распорядилась ею аккуратнее, чем я при первой встрече её квитанцией.

«К смотрителю идите сами. Я ему написала, что нашла ревизора, который проверит. Ваше согласие не обещала. Вдоль стены вверх по реке, полчаса. В.»

Я достала копию статьи, развернула оборотом вверх и положила рядом с запиской. Тот же наклон, те же крупные буквы: адрес красильни написала сама Вета. Обе бумаги убрала к квитанции. Выходило, в доме меня ждали. Это ещё не означало, что ждали с радостью.

Тропа шла под старой стеной. Справа плескала река, слева из камня торчала сухая полынь. Дом стоял на стене: два деревянных этажа над каменным основанием, из трубы тонкий дым. Ниже, в проломе, была калитка, за ней начинались кресты.

Двор был мощёный и выметен так, что между камнями не лежало ни листа, а посреди двора стоял колодец: низкий сруб, тёмный от сырости, дощатая крышка, на крышке плоский камень размером с хлебную доску. Ведро висело рядом на гвозде, сухое, с рыжей ржавчиной по ободу. Похоже, воду брали где-то в другом месте.

Дверь открыла девушка лет шестнадцати в переднике, который был ей велик, и встала в проёме так, чтобы загородить его весь.

— Хозяина нет, — сказала она.

— Где он?

Она подумала, можно ли ответить на такой вопрос, и решила, что нельзя.

— Хозяина нет, — повторила она. — Вы обождите. Тут.

В сенях стояла лавка под окном; дальше вела закрытая дверь. Девушка загородила и её.

— Как вас зовут? — спросила я.

— Луша.

— Луша, он скоро?

— Не велел говорить, — сказала Луша и сразу испугалась, что сказала слишком много.

Из окна была видна калитка.

— Я выйду во двор, — сказала я.

Луша выпустила меня и закрыла за мной дверь на засов. Я услышала железо, хотя она старалась двигать его тихо.

На кладбищах я бывала по службе: сводки иногда приходилось сверять с землёй. Здесь кресты потемнели и покосились к реке, камни вросли в траву. Чумные ряды теснились у восточного края. Только в одном месте виднелась свежая работа.

У самой стены, под липой, стояли рядом два колышка, струганые, светлые, с выжженными буквами. «Вета Мор». «Рагна Мор». Буквы были мелкие, ровные, выжженные глубоко.

Холма под колышками не было. Лежали доски, по три на каждое место, а рядом стояли две кучи земли. На сырой глине остались свежие полосы от лопаты; после вчерашнего ливня здесь уже работали. В моей ведомости за день Ветиной смерти по этому участку был прочерк.

Я присела, взялась за край крайней доски и потянула. Доска поддалась легко. На торце у неё осталась полоса глины, той же, что в кучах, ещё мягкая.

Под ней была яма. Ровные стенки в рост человека, дно, на дне немного дождевой воды, в воде отражалось небо и моя голова. И больше ничего. Края были подправлены лопатой, а под доской поперёк лежал новый брусок. Для чего яму держали открытой столько времени, я не знала. Свежая земля сама по себе не говорила, что яму выкопали недавно.

Доску я положила на место так, как она лежала. Вторую яму открывать не стала. Её содержимого я пока не видела.

— Не надо, — сказали у меня за спиной.

Я выпрямилась, отряхивая глину с колена. Низкий голос прозвучал совсем близко, и поворачиваться пришлось медленнее, чем хотелось.

Он стоял на тропе между рядами, в рабочей куртке, без шапки, с лопатой на плече. Высокий, худой, тёмные волосы, седина не на висках, а надо лбом, одной прядью. Руки длинные, с крупными суставами; указательный палец в чернилах, на ладони глина.

— Лидия Керн, — сказала я. — Вольный ревизор.

— Знаю, — сказал он.

— Откуда?

— Вета написала. И на вашей вывеске есть имя.

Он снял лопату с плеча, прислонил к липе и пошёл к калитке. Через три шага остановился и подождал, пока я пойду следом.

Караульня стояла у самой калитки, внутри стены: каменная, с одним окном и печью, с длинным столом у окна. На столе лежала книга. Толстая, в почерневшей коже, с медными застёжками. Над ней висела полка с четырьмя чернильницами.

Он показал на табурет и вышел. Я осталась с книгой одна и не тронула её: предъявления ещё не было.

Вернулся он с двумя кружками. Чай был крепкий, тёмный и несладкий, кружка горячая со всех сторон, а держать её было не за что, потому что ручку у неё когда-то отбили. Он сел напротив, через стол, и подвинул книгу ко мне. Открывать её он не стал.

— Господин Мор, — сказала я. — Вета предложила мне проверить две записи о смерти. Я ещё не приняла работу. Начну с вопроса к вам.

— Спрашивайте.

— Вы вправе отозвать собственные ложные заявления. Почему не отзовёте?

Он обхватил кружку обеими руками. Длинные пальцы легли на обожжённую глину, и я заметила, что на правом мизинце кожа треснула до крови.

— Вернуть их сразу нельзя.

— Имена?

— Да.

— Закон позволяет. Можно начать с вашего заявления и проверки. Вам это объясняли?

— Объясняли.

Он смотрел на кружку. За окном Луша проволокла корзину, и её тень медленно прошла по столу.

— Тогда что мешает?

— То, к чему они вернутся.

Я положила карандаш поперёк блокнота.

— Вета не может уехать. Рагна не может лечиться. Это уже есть. А то, о чём вы говорите, мне пока неизвестно.

— Я знаю.

— Мне недостаточно, что вы знаете. Если я возьмусь, проверю и это.

Он поднял глаза.

— Потому я и ждал ревизора.

Слова прозвучали почти просьбой. Я всё равно услышала в них попытку оставить самое важное при себе. В Палате мне тоже охотно отдавали суммы и придерживали приложения.

— Статью сорок первую вы переписали?

— Я.

— Вы хотели, чтобы она прочитала слова о том же доме?

— Хотел, чтобы нашла того, кто сможет проверить книгу.

— И подать протест независимо от вас.

Он помедлил.

— Да.

— Сейчас вы можете показать книгу и без брака. А завтра передумать и запереть. Как действующая жена я смогу потребовать её по праву дома и довести протест без нового разрешения. Вы это понимаете?

— Понимаю.

— До осеннего заседания тридцать восемь дней. Вчера было тридцать девять. Если вы рассчитываете, что я только почитаю и уйду, лучше скажите сразу.

Он коснулся медной застёжки.

— Я не буду мешать проверке.

— Примечание к сорок третьей вы знаете?

— Знаю. Потом следующая сессия.

— После Поворота. Рагну записали полтора года назад?

— Весной. Да.

Я вписала его ответ рядом с Ветиным. Даты сходились. Объяснения пока не было.

Я отложила карандаш:

— Тогда условия. Подряд с сегодняшнего дня до завершения осеннего заседания. Сорок дней считают от объявления; нового срока у нас не появится. Отдельная комната с замком изнутри. Талер за день работы и проживания, расчёт по окончании; если подряд прервём — за отработанные дни. Караульная книга доступна мне без вашего присутствия, с правом выписок. Решения о проверке и протесте принимаю я. Вы предъявляете бумаги, даже если они вам неприятны.

— А брак?

— Добровольный. Завтра подадим заявления, если я не откажусь после сегодняшнего чтения. Пошлина за регистрацию ваша. Расторжение обсудим после заседания. Подряд кончится сам, брак — только по отдельному заявлению. Жить здесь я обязана не буду, уходить могу.

Он кивнул. Я добавила:

— До заседания расторгать его не намерена: потеряю право подать по статье сорок первой. Но подпись под браком вы от меня сегодня не получите.

Я замолчала, давая ему время ответить.

— Да, — сказал он.

— На что «да»?

— На всё.

Я ждала, что он поторгуется хотя бы за талер. Согласие на всё пугало сильнее отказа.

— Вы даже не спросили, почему талер.

— Вы посчитали.

Ответить на это мне было нечего, я и правда посчитала.

— Одно, — сказал он.

— Слушаю.

— Колодец во дворе. Не открывайте.

— Почему?

— Под крышкой опасно. Прошу не открывать.

— Можно узнать, чем опасно?

Он посмотрел на окно и не ответил. Я записала: «Колодец — не открывать. Причину не объяснил». Запрету я могла последовать. Доверять объяснению, которого не было, не могла.

— Приём заявлений, — сказала я. — Завтра?

— Завтра попробую устроить к девяти. Четвёртое окно. День регистрации назначат там.

— Свидетели?

— Луша. И отец Мирон.

— Кто это?

— Священник. Старая церковь.

— Он согласится?

— Он соглашается со всем, — сказал Тибо Мор, — кроме того, с чем не согласен.

Я чуть не записала это как сведение о свидетеле. Он увидел мой карандаш, и угол рта у него дрогнул. Пришлось улыбнуться в кружку.

Комнату мне отвели на втором этаже, в конце коридора. Узкая кровать, застеленная туго, без единой складки, стол, стул, умывальник с холодной водой в кувшине и окно на кладбище, в котором как раз помещалась липа. Замок был новый, под дверью лежала стружка. Ключ блестел на столе; я спросила о втором.

— У меня нет, — сказал Тибо. — Оба ключа мастер оставил здесь.

Я забрала и второй.

Под окном стоял мой сундук. Вчера вечером я закрыла его над лавкой суконщика. Этого адреса я Тибо не называла.

— Как он сюда попал?

Луша, занёсшая полотенце, охотно сказала, что хозяин сам ходил за ним до света. Суконщик отпер: сундук был собран, про отъезд он знал. Я вчера попросила его придержать комнату. Про сундук не просила никого.

Тибо стоял у двери.

— Это вы распорядились?

— Да. Я думал, вам будет удобнее.

Я подняла крышку. Футляр лежал поверх белья, как я его оставила. Могла бы проверить каждую вещь, но сейчас нужно было другое.

— Я ещё не согласилась жить у вас, когда вы пошли за моими вещами. Вы моего согласия не спросили.

Он переступил с ноги на ногу. В тесной комнате ему некуда было деть руки.

— Вернуть?

— Сегодня оставлю. Это моё решение. Больше мои вещи без спроса не переносите. И в эту комнату входите после ответа на стук.

— Хорошо, — сказал он. — Простите.

Я дождалась, пока он выйдет, и сама закрыла дверь. Суконщику ещё предстояло объяснить, почему собранный сундук не означает разрешения его отдать.

Вечером я спустилась в караульню. Печь там топили, и от неё шло сухое ровное тепло. Две свечи на столе были новые, по два медяка, и за них, как я поняла, тоже кто-то уже посчитал. Самого Тибо не было: Луша сказала, ушёл в обход, и сказала это так, будто «обход» было отдельным местом, куда ходят. Книга лежала там же, застёжки были отстёгнуты.

Открыла я её с начала. Первые страницы были пергаментные, с выпуклыми рёбрами; дальше в переплёт подшили бумажные тетради. На стыке одна шла крупнее другой, и нижний край пришлось подрезать. Том собирали не один раз. В коже у корешка сохранились лишние отверстия от старой прошивки.

Четыреста лет назад здесь записывали имя, день, ряд, место, кто копал и кто платил. На полях попадалось «чума», потом ещё раз, потом целые страницы, где имена становились короче. Без отчеств и возраста. «Мельникова дочь». «Неизвестный, у моста».

Я различила четыре группы почерков. В ранних листах — крупные буквы с завитками; часть записей позднее перенесли в сменные тетради, сохранив старый вид. За ними шла острая наклонная рука, с длинными хвостами. Потом круглая, с неровными строками. Последний почерк был мне знаком по копии статьи: мелкие ровные буквы без наклона. Где кончалась работа смотрителя и начиналась работа переписчика, ещё предстояло разбирать. Сходство букв не делало одного человека четырёхсотлетним.

Он вёл книгу шестнадцать лет. Первые десять она была такая же, как у предшественников: имя, день, ряд, место. Потом записи о погребениях стали реже. Потом их не стало совсем.

Последние страницы, четыре года подряд, были ведомостью. «Пошлина за участок, уплачено». «Пошлина за ограду, уплачено». «Свеча в часовню, два медяка». «Ремонт крышки колодца, доска, гвозди». Я перелистнула ещё раз и потом ещё, чтобы убедиться, что не пропустила. Ни одного имени в столбце погребённых. Ни Веты, ни Рагны. Колышки под липой стояли, а в книге, куда смотритель обязан вписать каждого, кого положил в эту землю, их не было.

В моей сводке трёхлетней давности были те же нули. Последнее настоящее погребение в караульной книге стояло раньше — больше четырёх лет назад. Значит, пустоту я перенесла верно. Я только не заметила, что за похороны, которых здесь не записали, продолжали выдавать квитанции.

Отчего мне так хотелось найти погребения в книге, стало неприятно ясно. Тогда ошибка оказалась бы в чужих нулях.

Я вернулась к последнему погребению и переписала его дату. Затем выписала границы четырёх пустых лет. На этой странице было слишком много сведений, которые хотелось принять готовыми. Я заставила себя оставить между ними место для сверки с церковью.

Свечи догорели на палец. Я перевернула ещё лист, назад, ко второй руке, той, острой, с хвостами, потому что там, на полях, мне попалось что-то похожее на список, а списки я читаю из профессиональной жадности.

Оказалось, на внешнем поле шёл столбец имён с годами. Он продолжался на разных тетрадях, то теснился между примечаниями смотрителей, то уходил к самому обрезу. Против нескольких имён было написано «жена». Я перелистнула вперёд, придерживая страницы за чистый угол.

В последних листах нашлись Вета Мор и Рагна Мор. Каждая в своей строке, рядом с разными годами. Обе строки были бледными. Не такими, как старые бурые чернила выше: серые, неполные, местами с просветами внутри буквы. Ближе к корешку другие записи стояли чётко. Я переставила свечу, чтобы не обмануться тенью. Имена остались светлыми.

Поля у самой поздней записи были пусты. На них помещалась ещё строка. Я задержала там взгляд и медленно перелистнула обратно.

Ни Вета, ни Рагна не стояли в графе погребённых. Я проверила это ещё раз. Их имена принадлежали другому списку, значение которого мне не объяснили.

Дверь скрипнула. Тибо вошёл с охапкой дров и остановился, увидев, где раскрыта книга.

— Что это за столбец? — спросила я.

Он положил дрова у печи. Одно полено скатилось к ножке стола, и он нагнулся подобрать.

— Семейный лист. Люди дома.

— А Луша?

— По найму. В семейный лист не внесена.

Я ещё раз просмотрела последние строки: её имени там не было.

— Почему эти имена бледные?

— Такими были, когда они ушли.

— Вы их вписали?

— Я вёл книгу, — сказал он после паузы.

— Это другой ответ.

— Знаю.

Он посмотрел на строки так, что я невольно отняла от страницы руку. Жалости на его лице я не увидела. Усталость была, и что-то ещё, от чего захотелось закрыть книгу и перенести разговор на утро. Так я уже однажды закончила проверку.

Я придвинула блокнот.

— И вот с этим вы предлагаете мне разбираться после регистрации?

— Теперь вы видите, с чем, — сказал он.

Я спросила, можно ли остаться с книгой. Он ответил, что до утра она здесь. Закрывать от меня не будет.

Когда он вышел, я записала: «Семейный лист: Вета, Рагна. Бледные строки. В погребённых нет. Спросить обеих». Потом дописала вопрос о собственном акте. Внизу страницы ещё оставалось место.

Рядом со словами «Завтра в девять» я поставила: «Подача заявлений. Решаю сама».

Книгу я оставила открытой, а обе свечи подтянула ближе. До утра можно было прочитать ещё несколько лет. На этот раз я собиралась дойти до приложений.

Глава 4. Ведомость на четверых

Утром Тибо Мор положил на кухонный стол два листа: заявление о браке и наш подряд. На втором сохли подписи. Он придержал лист за угол, когда сквозняк потянул его к мокрой чашке.

— В девять, — сказал он. — Подать.

Я проверила, взял ли он свидетельства о прекращении прежних браков. Проверила ещё раз срок подряда: до завершения осеннего заседания. От того, что мы расписались на кухне, действующей супругой я не стала. Пока Тибо мог сложить бумаги в печь и обойтись без меня.

— Если вам нечего скрывать в записях, зачем вам именно ревизор? — спросила я.

Он убрал чашку с края стола.

— Мне нужно знать, что сделано правильно.

— С первого раза дешевле.

— Знаю.

Это простое слово задержало меня у стола. Я тоже знала, сколько стоит проверка, которую приходят заканчивать через три года.

Отец Мирон явился в мокрой рясе, с зонтом, который так и не раскрыл. Луша торопилась вытереть руки передником. Я подождала, пока она переобуется из войлочных туфель, и мы вчетвером пошли в Палату.

У четвёртого окна приняли заявления и имена свидетелей. Свищ проверил оба свидетельства о смерти, заглянул в книгу и отложил наш бланк.

— Регистрация завтра. Для служебного дома другая форма.

— Сегодня нас никуда не внесли? — уточнила я.

— В очередь. Не в дом.

Тибо взял извещение с назначенным часом. До завтра мы оставались двумя свободными людьми, связанными подрядом; даже пошлину Свищ велел принести при регистрации. Я убрала свой экземпляр извещения в портфель. Самые большие неприятности в Палате начинались со слов «я думала, это уже сделано».

Обратно Тибо пошёл к ограде, Луша — на кухню. Мирон придержал меня за рукав.

— Пойдёмте ко мне. Вы ведь хотели книгу. Пока ждали у окна, так на меня смотрели, что я понял: хотите книгу. Ко мне так смотрят из Палаты и ещё вдовы, когда спорят о месте.

Ничего такого я не говорила. Но книгу хотела.

Старая церковь стояла у самой стены и была ниже её на целый ярус. Внутри пахло воском и холодным камнем. Свет из трёх узких окон ложился на пол полосами; у входа камень ещё хранил тепло, дальше к алтарю ноги начали зябнуть.

Мирон зажёг свечу в притворе, хотя было светло, и сказал, что так заведено: книгу при дневном свете не открывают, только при огне. Почему, он не знал и сообщил это с удовольствием.

Книге погребений было двести лет. Старую, объяснил Мирон, съел пожар от пекарни у ворот. Колокол тогда упал и не раскололся; с тех пор звонил на полтона ниже, отчего хор пел мимо. Он ещё охотно объяснил, что дом смотрителя стоит на камне прежней стены, а под стеной начинались чумные ряды. Теперь там росла крапива.

Я попросила его показать последнюю запись по участку. Мирон отодвинул свечу, чтобы я не задела огонь рукавом, и нашёл нужную страницу сам.

Я листала.

В начале книги записи шли густо, потом реже; углы у этих страниц были мягкие от пальцев. Позже Мирон вписывал по одному-два погребения в год, с длинным хвостом у подписи. Последнее погребение состоялось больше четырёх лет назад. После него четыре полных года

в графе «погребённые» стоял прочерк. Каждый месяц, по линейке, ровной чертой, и лист под этими чертами был гладкий, почти не листанный. Против прочерков пустовала и графа, где пишут место. Он не поленился и прочертил и её.

Я раскрыла блокнот и положила рядом Ветину квитанцию: пошлина за погребение внесена три года назад, осенью. О второй смерти, полтора года назад, я знала со слов Веты. Видела ли она такую же квитанцию за Рагну, я не спросила. Возле второго платежа пока стоял вопросительный знак.

— Отец Мирон, — сказала я. — Сюда кто-нибудь вписывает погребения, кроме вас?

— Никто. Только я. Да и кому? Смотритель пишет у себя, я у себя, так с первого дня. Две книги, и они должны сходиться, как две половины одной монеты. Вы знаете, что раньше монету рубили пополам, когда давали в долг? Одна половина у должника, другая у…

— Здесь ничего нет за четыре года.

— Нет, — согласился он.

— У меня квитанция за погребение Веты Мор. Потом записали вторую жену смотрителя, но её платёж я ещё не видела.

— Да, я слышал. Несчастный дом. Хотя дом-то как раз крепкий, я вам говорил, из стены. И крыша хорошая, смотритель сам перестлал, когда ещё его отец…

— Вы их отпевали?

Он замолчал на полуслове, и свеча в притворе стала слышна: тихо потрескивал фитиль.

— Госпожа Керн, — сказал он. — Вы ведь уже прочитали.

Прочитала. Прочерк по линейке. Такой же я видела в приложении к акту полноты, который подписала три года назад. Тогда передо мной лежали сводки, аккуратно сшитые, с итогами на обороте. Итоги сходились. За содержание чужих заявлений я не отвечала — так я объясняла себе свою подпись все эти годы.

Теперь я держала первичную книгу, которую тогда не потребовала. Мирон положил палец на пустую графу места, словно помогал мне найти строку.

— Тогда кто их хоронил?

— Хоронит смотритель, — сказал Мирон. — Я провожаю. Если меня не позвали, мне провожать некого. — Он закрыл книгу, бережно, ладонью сверху, как закрывают на ночь окно. — Город всегда платил, а кладбище всегда брало. Это по старому уговору, ещё с тех пор, как город и кладбище…

Он остановился и посмотрел на меня поверх свечи.

— Считайте, что я этого не говорил.

— Не могу, — сказала я. — Я записываю то, что вы сказали. Чего вы не говорили, у меня записать не получится.

Записала я слово в слово: «Город всегда платил, а кладбище всегда брало. Это по старому уговору, ещё с тех пор, как город и кладбище». Подчеркнула дважды. Мирон посмотрел, как я пишу, и пошёл гасить свечу.

На обратном пути мы шли вдоль рядов. Под липой стояли два колышка с табличками, а за ними лежали два дощатых щита. Возле каждого была куча рыжей земли. Вчера я подняла доску только над одной ямой; теперь оба щита лежали ровно. На ближнем, над Ветиным местом, сучок походил на запятую и смотрел хвостом к стволу.

Землю опять трогали. У одной кучи комья успели подсохнуть снаружи, у другой блестели влажные срезы. По этой земле нельзя было судить, когда выкопали ямы: можно было сказать только, что лопатой работали недавно. Я записала именно это и убрала карандаш. Из своего окна в Палате я достаточно лет превращала удобное предположение в готовую графу.

Мирон перекрестился на колышки, потом подумал и перекрестился ещё раз, в сторону дома.

* * *

Зеркала я хватилась, когда вернулась: воротник сбился на ветру, и хотелось поправить его по-человечески, а не на ощупь.

В сенях зеркала не было. На стене у вешалки был гвоздь, а под гвоздём на побелке светлый прямоугольник, ровный, в ладонь шириной и в локоть высотой, с тонкой серой каймой от пыли. В коридоре на втором этаже нашлись ещё два таких же: один напротив лестницы, другой между закрытыми дверями. Гвоздей там не было, только дырки, замазанные известью, причём замазанные аккуратно, вровень со стеной.

Своё зеркальце, карманное, в латунной крышке, я достала из сундука, раскрыла и поставила на умывальник у окна, лицом в комнату. Латунь была холодная, крышка подалась с тугим щелчком. Её нижний край стоял чуть косо; я придержала зеркальце, пока оно не устоялось. Поправила воротник. Лицо в нём было обычное: тридцать пять лет, бессонная ночь, немного злости на складку у рта. Зеркальце я оставила как стояло. Прижала плечом разбухшую оконную створку, задвинула щеколду. Ушла и закрыла дверь на свой новый замок; ключ повернулся туго, как поворачиваются только новые, и я убрала его в карман.

Луша была на кухне. Руки у неё до локтя были красные от воды, в тазу мокли половики.

— Кто живёт в доме? — спросила я.

— Хозяин, — сказала Луша. — Я. Теперь вы.

— Больше никто?

— Кому тут быть.

На этих словах она посмотрела на вторую дверь. На кухне их две: одна в сени, другая на чёрную лестницу. Посмотрела коротко, одним глазом, как смотрят на кастрюлю, которая может убежать.

— Куда ведёт эта дверь?

— Наверх.

— Наверх ведёт главная лестница.

— И эта тоже, — сказала Луша. — Тут всё наверх ведёт, дом такой.

— А зеркала где?

— Какие зеркала?

— Которые висели в сенях и в коридоре. Три штуки, если считать по пятнам.

Луша выжала половик, долго и сильно, так что в тазу забурлило.

— Не было тут зеркал. Сколько я служу, не было.

— Сколько вы служите?

— Давно.

Пятна на побелке были старые. Известь в дырках была новая. Значит, могло быть и так и так: не было при ней, а были до неё. Или были, но она так не скажет. Я спросила, кому принадлежат две закрытые комнаты на втором этаже, и Луша ответила, что они закрыты, а это я видела и без неё. Больше я не спрашивала: человек, который на каждый вопрос оглядывается на дверь, отвечает двери, а не мне.

После обеда я села в караульне переписывать из караульной книги пошлины за четыре года, чтобы положить их рядом с церковными прочерками и Ветиной квитанцией: три столбца, один участок. Окно было открыто. За окном Тибо чинил ограду у дальнего ряда: строгал доску, примерял, снимал, строгал снова. Рубанок шёл ровно, со звуком, похожим на вдох. Мы так просидели часа три, он на земле, я над бумагой, и за три часа не сказали друг другу ни слова. Мне не было неловко. Это меня удивило больше, чем пустые графы.

Один раз он вошёл со второй свечой, хотя было ещё светло.

— Оставить? — спросил он.

Я подняла глаза от строки.

— Оставьте. Спасибо.

Он поставил её так, чтобы я не задевала локтем, и вернулся к ограде.

Ветину квитанцию я подвела к строке своей выписки: «Погребённых нет». Край бумаги заслонил прочерк, и я отодвинула его. За Вету деньги взяли. В соседнем столбце рука потянулась отметить так же платёж Рагны, но карандаш остановился над вопросом: её квитанции я ещё не видела. Внизу оставалось место для итога. Я написала там: «Потребовать исходные заявления» — и не стала подводить черту под столбцами.

Зеркальце на умывальнике лежало лицом вниз.

Не упало, решила я. Мне казалось, упасть оно могло только набок: крышка у него тугая, а умывальник ровный, я проверила монетой, и монета не покатилась. Значит, его положили. Аккуратно, латунью вверх, точно посередине мраморного края. Замок был заперт, ключ был у меня в кармане весь день, я его чувствовала бедром, когда сидела.

Окно было закрыто на щеколду изнутри.

Я спустилась к Луше. На кухне пахло мокрой шерстью и щёлоком, таз стоял на прежнем месте. Она сказала, что не трогала, что наверх не ходила, что у неё половики. Я не стала спорить. Половики я видела, но они не доказывали, что она ни разу не вышла из кухни. Тибо был в обходе.

Тогда я сделала то, что умею: посчитала дом.

Комнат в нём пять, если не считать кухни, сеней и караульни. Три жилых: моя, хозяина, в другом конце коридора, и Лушина, внизу, за кухней. Две закрыты, обе на втором этаже, между ними пятно от зеркала. Живут трое. Луша мыла главную лестницу в полдень, с песком, я слышала скрип щётки из караульни. Песок на ступенях высох и лёг тонкой серой коркой, а на корке за полдня остались следы.

Я встала на колени на нижней ступени со свечой. На службе я однажды считала по отпечаткам мешки с известью: кладовщик сдал их двадцать, а по полу протащили девятнадцать. С людьми такой уверенности у меня не было.

Мои: каблук, носок поуже, левая нога ступает чуть внутрь. Лушины: войлок, без каблука, широкие, мокрые по краю, потому что она ходит от таза. Его: сапог, большой, с глиной в рисунке подошвы, рыжей, той самой, что в кучах под липой. Он поднимался один раз, днём, и спускался один раз.

Четвёртые были узкие. Башмак, женский или мальчишеский, с каблуком, стоптанным наружу, без глины. Они шли наверх до площадки и там, у пятна от зеркала, обрывались: дальше по коридору был половик, а на половике песок не держится.

Вниз они не шли.

Я посидела на ступени, пока свеча не начала капать на руку. Потом поднялась, обходя свои собственные следы, чтобы не испортить чужие, и записала: «Комнат 5, жилых 3, закрыто 2. Живут трое. Следов на лестнице четыре пары. 4-я: узкий башмак, каблук стоптан наружу, глины нет. Вверх есть, вниз нет. Зеркало перевёрнуто, замок не тронут».

Ниже оставила место для имени.

* * *

Ночью я не спала, а сидела у окна в пальто, не зажигая свечи. Липа в окне была чёрная, кладбище за ней серое, небо ещё светлее, и луна стояла над стеной ровно, как печать.

Фонарь показался во втором часу. Шёл он от караульни, низко, на уровне колена, и качался в такт шагу. У липы остановился. Человек с фонарём поставил его на землю, и я увидела руки, рукав, потом всего Тибо Мора, когда он нагнулся.

Он снял с ямы щит. Аккуратно, двумя руками, сначала приподнял за край, потом отвёл в сторону и положил на траву, не бросая. Взял фонарь, присел на корточки у края и посветил вниз. Сидел долго. Я считала, потому что ничего другого не оставалось: дошла до двухсот и сбилась.

Потом он поставил фонарь, поднял щит и положил на место.

Я спустилась по главной лестнице, держась у стены, где ступени не скрипят; побелка под ладонью была шершавая и холодная. Шла в обход своих же следов, по памяти: в темноте их было не видно. Во дворе было так холодно, что воздух пах железом, и трава под ногами оказалась мокрой, как днём, хотя дождя не было. Он слышал меня от самого крыльца, это было видно по спине, но не повернулся и не ушёл.

Щит лежал как днём. Сучок-запятая смотрел хвостом к стволу. Доска легла в ту же вмятину на глине, в которой лежала утром, ни на палец в сторону.

— Вы это каждую ночь? — спросила я.

— После дождя смотрю чаще.

— Там вода, — сказала я. — Вчера была вода. Сегодня?

— Есть.

— Сколько?

— По щиколотку.

— Вчера было больше.

— Земля берёт.

Я подошла к куче вынутой земли. Буквы на табличках он вырезал глубоко: «Вета Мор», «Рагна Мор». Вторую яму он ещё не открывал при мне. На краю её щита лежала короткая доска, свежая, светлее остальных; возле колышка темнела вдавленная ладонью глина.

— Край осыпался? — спросила я.

— После ливня.

Он посветил на место, куда ложился щит. Вода размыла стенку; под новой доской стояла подпорка. Это объясняло свежую землю. Ни табличек, ни пустых ям оно не объясняло.

На кладбище не было ни звука, кроме фонаря: в нём тонко шипел фитиль.

Он проверял щит без спешки, как сапожник проверяет колодку. От привычной точности ремесла здесь становилось только тревожнее. Я подождала, пока он отойдёт от края, и спросила прямо:

— Это вы копали?

— Так уговорились.

Он сказал это сразу, без паузы, и я не сразу поняла, что услышала. Ни «нет», ни «не открывайте». Он подтвердил, что копал, но я не знала ни времени, ни второй стороны этого уговора.

— С кем?

Тибо Мор поднял фонарь. Свет прошёл по табличкам, по кучам земли, по щиту, по моим ботинкам и вернулся к нему в руку. Он постоял, словно отмерял ответ, и пошёл к караульне. Это был отказ. Я так и записала потом, в комнате, при свече.

Только сначала постояла у ямы ещё немного, одна, и щит не тронула. Мне хватило того, что я видела, как он это делает.

В блокноте на странице вопросов я дописала: «Укрепляет края после дождя. Сами ямы оставляет открытыми». Ниже:

«Яма у липы, под щитом. Вода по щиколотку, вчера больше. Проверяет ночью, ок. 2 ч. Щит кладёт на прежнее место точно, сучок к стволу. "Так уговорились". С кем — не ответил».

И ещё ниже, мельче, потому что для ведомости это было лишнее:

«Смотрит долго. Что проверяет, кроме воды, не сказал».

Вблизи я заметила, как он устал: поднимая фонарь, перехватил дужку второй рукой. Днём над оградой он двигался легче. Мне захотелось спросить, когда он спит. Я рассердилась на себя за этот вопрос прежде, чем произнесла его. Вета наняла меня совсем для другого.

Зеркальце так и лежало на умывальнике лицом вниз. Я его не тронула. Положила рядом медяк, ребром к латунному краю, вплотную, чтобы крышку нельзя было поднять, не сдвинув монету, и легла.

Утром я собиралась выяснить, кто в этом доме поворачивает зеркала. Пока оставалось смотреть, не сдвинется ли медяк, и не слушать шаги на лестнице.

Глава 5. Особая форма

Медяк лежал там, где я его оставила: ребром к латунному краю. Вокруг него пыль на мраморе была ровная, без мазка. Ночью зеркальце не поднимали. Я перевернула его сама.

Из латунной рамки на меня глянула женщина тридцати пяти лет, не спавшая до трёх и собиравшаяся второй раз за два дня расписаться под словом «супруга». Щёки бледнее, чем вчера, складка у рта глубже. Я закрыла крышку и сунула зеркальце в карман.

Вчера у четвёртого окна мы подали заявления. Сегодня предстояло явиться ещё раз, подтвердить согласие и получить запись. Подряд лежал в портфеле, отдельно от брачных бумаг. Я несколько раз перекладывала их, пока не рассердилась и не перевязала каждую пачку своей тесьмой.

* * *

В Палате пахло сургучом и мокрыми рукавами, от печки тянуло горелой бумагой. Черновиками её топили, сколько я себя помнила. Тибо придержал тяжёлую дверь, пропуская Мирона, Лушу и меня, вошёл последним и встал у стены.

Меня узнали сразу. Старший по выдаче, которому я три года назад вернула ведомость с одиннадцатью поправками, поднял голову от стола и опустил её обратно. Писарь из третьего окна, с которым я пять лет делила чернильницу, кивнул так, что этот кивок можно было потом выдать за покашливание. Никто не подошёл. Три месяца назад я ушла со службы сама, не подписав сводку без приложений. По тому, как писарь опустил глаза, я поняла: помнил, какую именно.

— Госпожа Керн, — сказала дама у первого окна, не поднимая глаз. — По делу или по старой памяти?

— По делу, — сказала я. — Старой памяти у меня на эту Палату и так больше, чем нужно.

Она записала что-то, к нам не относящееся, и больше на меня не смотрела.

Отец Мирон сел на скамью рядом с Лушей и заговорил о том, как прежде браки смотрителей вписывали на пергаменте. Она слушала, опустив глаза на свои войлочные башмаки.

Свищ открыл заслонку ровно в девять. Писарю было двадцать четыре года: худой, пальцы в чернилах до второго сустава, воротник застёгнут на все пуговицы. Он переводил взгляд с двери на книгу и обратно. Перед ним лежал бланк. Обычный брачный бланк в Палате серый, в одну сторону, с двумя столбцами. Этот был длиннее на ладонь и разлинован в три.

— Форма, — сказал Свищ.

— Вижу, — сказала я. — Чем она особая?

— Графой.

— Какой?

Он повернул бланк ко мне и подвинул по стойке, не отпуская угол. В обычной форме третьей строкой идёт «местожительство супруги», и туда пишут улицу и дом. Здесь на этом месте стояло: «Принадлежит дому». Рядом было пусто, и свободного места оставили ровно на три слова.

— Брак смотрителя, — сказал Свищ. — Служебный дом. Супруга вписывается по дому.

— Это я понимаю.

Он взглянул на дверь. Там никого не было, только сквозняк шевелил объявление о новых сроках подачи.

— Нет, — сказал он.

Он посмотрел на Тибо. Тот не отвёл глаз.

— Прочитайте ей всё, — сказал он.

Свищ подвинул лист дальше. Я прочитала. Служебный дом, семейный лист, право пользоваться книгой, обязанности по особому уставу. Самого устава к бланку не приложили.

— Мне нужна копия этого устава, — сказала я.

— Запросите в архиве.

Я поставила просьбу на полях своего экземпляра. Заказчику я велела бы дождаться устава; себе обещала потребовать его сразу после записи. Заявление о браке можно было забрать и сейчас. Я положила ладонь на портфель, где лежали Ветины бумаги, и осталась у стойки.

— Свидетели, — сказал Свищ.

Отец Мирон назвал себя полностью, с саном и приходом. Луша подтвердила имя, возраст и то, что служит в доме по найму. Свищ сверил вчерашние строки, затем спросил нас с Тибо по очереди, свободны ли мы и вступаем ли в брак по своей воле.

— Да, — ответила я.

Тибо ответил так же. На этот раз я смотрела на него: он произнёс своё согласие без промедления, но пальцы на стойке сжались. Свищ подал Тибо перо. Подпись вышла короткая, с наклоном вправо. За регистрацию он заплатил сам; писарь отсчитал сдачу на край бланка, и ни одна монета не попала в мой портфель.

Свищ заполнил графу дома и прочёл запись вслух, чтобы слышали свидетели:

— Керн Лидия, вольный ревизор, — сказал Свищ, — вносится в Реестр супругой смотрителя Мора Тибо. Из дома Мора.

Он поднял на меня глаза. Впервые за утро.

— Полным именем, — сказал он. — Не Керн Л. Полностью. Как в метрике.

— Зачем?

— Так в форме.

Я проверила строку, прежде чем взять перо. Фамилию оставляла свою; в графу дома уже вписали его. Написала полностью: «Лидия Керн». Казённое перо цепляло бумагу, и точка вышла с коротким хвостом. Мне хотелось, чтобы подпись вышла аккуратнее, хотя исправлять в ней было нечего.

Свищ присыпал запись песком, стряхнул его в ящик и повернул книгу к себе.

— Ходатайство по статье сорок первой, — сказал он, глядя на дверь, — примем от вас. С сегодняшнего дня.

— Хорошо.

— Это одно, — сказал он. И закрыл рот.

— А второе?

Он промолчал. Три слова в строке «принадлежит дому» мне не нравились. Я получила право действовать от своего имени, но подписала и ссылку на непрочитанный устав. Следовало добиться его прежде. Я посмотрела на Тибо. Он смотрел на запись. Мы стояли в ней рядом, на одной странице, строкой ниже записи о том, что прежний брак прекращён смертью супруги. Оба знали, что это подряд: я выполняю работу, он даёт мне для неё право. Я смотрела на соседние имена, пока писарь не убрал книгу.

* * *

Копию записи о смерти постороннему не выдавали. Право протеста у меня теперь было, а для немедленной выдачи нужно было отдельное требование заявителя. Я попросила Тибо подписать оба: о Вете и о Рагне.

Он сел к боковому столу, заполнил бланки и придвинул их мне.

— Это только на копии? — спросил он.

— Пока на копии. Отменять запись я вслепую не стану.

Он кивнул. По его лицу я не поняла, какого ответа он ждал. В требовании узнала расстояние между буквами: вчера я полдня читала его караульную книгу.

Свищ подержал бланки в руках и положил под книгу.

— Копии — через три дня.

— А записи посмотреть сегодня можно?

— Они в выдаче. Скоро старые дела перенесут в подвал.

— Когда?

— Через два дня. А меня, может, раньше переведут. Во вторую контору, за реку.

Он сообщал срок, глядя мимо меня, на человека в сером пальто. Тот сидел возле двери с самого утра и к окнам не подходил.

Свищ попросил даму у первого окна присмотреть за заслонкой и ушёл. Я стояла у бокового стола и слушала, как в печке потрескивают черновики. Десять лет этот звук сопровождал мою работу. В одной из папок наверху до сих пор лежал акт, за который я получила благодарность: полнота погребальных ведомостей старой стены. Я помнила светлую тесьму, свои инициалы на сгибе, итог без ошибок. Номеров первичных заявлений я тогда не выписала.

Свищ вернулся с двумя листами в обложке.

— Полчаса. Из выдачи не уносить. И вы не от меня.

— Я пришла по своему делу.

— Вот так и говорите.

Он ушёл к окну. Я раскрыла обложку, поставила рядом Ветину квитанцию и сразу проверила заголовки. Передо мной были реестровые записи, составленные писарем со слов и бумаг заявителя. Самих заявлений здесь не было.

Первый лист относился к Вете: три года назад, осень, тридцать один год. Второй — к Рагне: полтора года назад, весна, двадцать три. В обоих основанием значилось заявление супруга, причина — «по болезни». Свидетелей переписали в соответствующие строки. В обоих листах стояла отметка об уплаченной погребальной пошлине. Вопрос у Рагниного платежа я наконец могла убрать. Ни осмотра, ни врача форма не требовала.

Ниже, отдельно отчёркнутая, шла графа «Где погребён».

У Веты она была пуста. У Рагны тоже.

Я подняла первый лист к окну. В пустом месте не было заметно ни скобления, ни подчищенного ворса. Второй выглядел так же. Следов исправления я не видела; большего в выписке не написала.

— В приложениях были места погребения? — спросила я Тибо.

— Нет.

— Вы подали без них?

— Да.

Он стоял за моим плечом. Я повернулась, и ему пришлось отступить, чтобы мы могли смотреть друг другу в лицо.

— Тогда почему Палата взяла пошлину за погребение?

— Её потребовали с пакетом.

— А вы уплатили.

— Да.

Я вернулась к столу. Пошлина имела сумму и основание, пустая графа — место на листе. Их можно было предъявить; причину его согласия ещё предстояло выяснить.

Квитанция была заполнена мелкой ровной рукой. Я положила возле неё сегодняшнее требование Тибо: некоторые буквы походили, особенно короткие соединения, но торопливый бланк и старая запись различались нажимом. В караульне образцов было больше. Я собиралась вернуться к ним, имея перед глазами выписку, а не собственную память.

В реестровых листах писарская рука была другая. Под именами свидетелей стояли отметки о принятии подписей; сами подписи следовало искать на заявлениях. Одно короткое имя повторялось в обоих листах. Вторую букву я прочла двумя способами и поставила крестик у своей выписки: сверить по первичному листу.

Тибо наклонился посмотреть.

— Что отметили?

— Повторного свидетеля. Вы помните его полное имя?

Он прочёл строку и медленно выпрямился.

— По этой бумаге не скажу.

Я хотела спросить, по какой скажет, но Свищ уже шёл к столу.

— Время.

Я убрала квитанцию, дала ему собрать оба листа и попросила разыскать исходные заявления с подписями, а заодно книгу их поступления.

— В старых связках, — сказал он. — Запишите в требовании. Иначе вам дадут то же самое, только набело.

Я дописала. Он принял лист, прочёл и не стал обещать.

В блокноте осталось: «В обеих записях место погребения пусто. Основания: заявления Мора Тибо; сами заявления не предъявлены. Один свидетель повторяется, имя проверить, крестик мой. Сопоставить с первичными листами. Отдельно — квитанцию с караульной книгой».

Когда мы выходили, я пропустила вперёд Мирона и Лушу. Тибо снова придержал дверь, и с улицы потянуло мокрым камнем. Человек в сером пальто поднялся со скамьи и пошёл к лестнице на второй этаж, где сидело начальство. За всё утро к окнам он так и не подошёл. Я записала пальто: ни имени, ни дела у меня не было.

На ступенях Тибо сказал:

— Мне в обход.

— Я в контору.

Он кивнул, и мы разошлись в разные стороны.

* * *

В конторе на Чернильной было холодно. Часовщик за стеной что-то настойчиво заводил и не мог завести. Я зажгла свечу, села за стол и открыла книгу расходов. За три месяца вольной практики у меня прибавилась новая привычка: каждый день отделять заработанное от полученного.

В графе «получено сегодня» я поставила прочерк. Ветину плату вывела в обещанное: аванса она не давала. Задержала перо над строкой — больше писать было нечего. Книгу всё же оставила раскрытой. Пока она лежала передо мной, можно было считать, что я занята обычным расчётом.

У окна суконщик с нижнего этажа ругался с возчиком: намок край тюка. Я узнала голос и почти обрадовалась. Тюк можно было развернуть, сосчитать ущерб и сторговаться. Я прикрыла книгу расходов, прежде чем начать подсчитывать чужой суконный убыток вместо своего дела.

Чернила с пальцев я смывала над тазом, который держу у двери. Вода была ледяная, мыло старое, руки покраснели. Под рукавом, на левом запястье, я увидела полосу.

Полоса шла ровно по кругу запястья, бледнее кожи вокруг, как след от снятого браслета. Браслетов я не носила: в Палате ими цепляешь края листов. Утром, когда я застёгивала манжеты, её не было.

Я потёрла её большим пальцем. Потом мылом. Потом щёткой для ногтей, сильно, пока вокруг не покраснело. Красное легло вокруг полосы, а сама полоса не покраснела нисколько. Она осталась бледной, как бумага, с которой свели строку. Я вытерла руку, поднесла к свече и смерила полосу линейкой, на которой отмечаю поля. Ширина полосы оказалась тремя делениями линейки. По краю она не расплывалась. Она не болела, не чесалась, ничем не пахла и не была на ощупь ни холоднее, ни теплее.

В голове у меня было только одно, и не своим голосом. Свищ, вслух, для зала: «Из дома Мора». И его «нет», когда я сказала, что понимаю.

Я застегнула манжету, потом расстегнула опять. Полоса осталась на месте. До вечера я могла бы сидеть здесь и смывать её, каждый раз убеждаясь в одном и том же. Вместо этого убрала щётку, взяла бумаги и пошла обратно к старой стене.

* * *

Тибо ещё не вернулся с обхода. В караульне было темно; огонь в печи угас, но под закрытой заслонкой слышно было, как оседают угли. Я зажгла свечу и открыла книгу там, где вчера закончила выписку.

Сначала я искала образец его руки для квитанции. Перелистнула год, ещё один, остановилась у последнего семейного листа.

Под старыми бледными именами Веты и Рагны появилась новая строка.

«Керн Лидия. Супруга смотрителя». Рядом стоял нынешний год.

Чернила ещё блестели. Я поднесла свечу и замерла, не успев поставить её на стол. Буквы были мелкие, с короткими соединениями, как в сегодняшнем требовании. Моё имя стояло в чужом служебном столбце, куда я его не вносила. Вчера под Рагной оставалось пустое место. Я помнила его: край листа был надорван, я придерживала разрыв ногтем.

Пламя дрогнуло. Я опустила подсвечник на стол, отодвинула от кожи переплёта и снова посмотрела.

Блеск уходил. Последние буквы фамилии стали серыми, будто их смывали с изнанки. Я машинально накрыла строку ладонью, как накрывают то, чего не хотят показывать проверяющему. Бумага под пальцами была сухая. Когда я отняла руку, строка осталась. Начало строки ещё держало тёмный нажим, а сквозь буквы справа уже проступал ворс листа.

Я резко встала. Табурет ударился о стену. В тесной караульне стало нечем дышать, хотя дверь была открыта. Я дошла до неё и взялась за косяк. Во дворе лежали обыкновенные доски; Луша выливала воду из таза, и вода с плеском бежала между камней. Я смотрела, пока не смогла вдохнуть до конца.

— Госпожа Керн?

Тибо стоял у калитки с фонарём. Он посмотрел на меня, потом за мою спину, на книгу.

Я отступила, пропуская его к столу.

— Посмотрите на последнюю строку.

Он поставил фонарь рядом со свечой. Я следила за его лицом. Теперь оно изменилось: он сжал губы и перевёл взгляд с фамилии на мою руку, державшую край стола.

— Когда вы это увидели?

— Сейчас. Она темнела… Нет. Светлела. При мне.

Он потянулся к листу и остановил руку над полем. Пальцы остались в воздухе.

— Вы знали, что так будет? — спросила я.

Он долго смотрел на фамилию.

— Надеялся, что позже.

Я отодвинула его фонарь. Ручка была горячая, но я не сразу отпустила её.

— Значит, о чём-то вы могли сказать мне до подписи.

— Да.

Мне хотелось ударить его бланком, книгой, всем, что он давал читать по частям. Я разжала руку и вернулась на табурет. Он остался стоять, не приближаясь.

— Я запишу, что видела, — сказала я. — Теперь мне нужно знать, что значит этот столбец.

Тибо провёл рукой по краю стола.

Я не стала принимать этот жест за ответ. Но дверь за ним оставалась открытой; можно было уйти в контору, и он не встал бы на пути. Уйти из брака до заседания означало отдать ему обратно единственный доступ, которого больше не требовалось просить. Я осталась у книги, пока он не ушёл, потом переписала строку и отметила время по часам в сенях.

У себя в комнате я раскрыла блокнот на чистом листе. На службе я привыкла отводить каждой проверке отдельную страницу. Себе отвела впервые.

Я начертила три столбца и написала сверху: «Керн Лидия. Из дома Мора». В первом столбце: «Дата: пятый день». Во втором: «Левое запястье. Полоса бледная, ровная, 3 деления. Не сходит от воды, мыла, щётки. Не болит. Утром не было. Была — между Палатой и вечером». В третьем столбце, где у меня обычно стоит «основание», я написала: «После регистрации. В караульной книге появилась фамилия; побледнела при мне. Связь с полосой проверить» и поставила вопросительный знак.

Ниже я хотела написать вопрос о Тибо, но места на странице уже не хватило. Я перевернула лист и вывела: «Что он надеялся отсрочить?»

Зеркальце лежало в кармане. Доставать его я не стала. Проверять собственное лицо до утра было страшнее, чем смотреть на чужую книгу.

Глава 6. Порог

Через реку ходила одна лодка на шесть человек. В то утро лодочник насчитал семь и велел лишнему выходить. Потом заметил, что за человека принял мой портфель. Я передвинула его на колени; портфель сидел смирнее двух торговок напротив, но заступаться за него не стала.

Туман лежал на воде плотно, как мокрое сукно. Левую руку я держала в кармане, правой проверяла манжету: пуговица застёгнута на последнюю петлю, туже, чем я ношу. Полосу под ней я с утра не разглядывала.

Третий дом от причала я уже знала: красильня, запертые утром ворота, холсты над ними. Теперь калитка была открыта. По проходу вдоль стены я вышла в задний двор. Там, на низкой пристройке, висела вывеска «Починка и перешив». Ветину вывеску я приметила ещё в прошлый раз. Я придержала калитку, чтобы не задеть синий холст, и подошла к двери, от которой пахло горячим утюгом.

Я постучала.

Открыла не Вета. Женщина в дверях была моложе, худая, в мужской куртке поверх платья. Дверь она держала ногой, чтобы та не распахнулась шире ладони. Лицо трудно было назвать молодым, хотя по чертам ей было года двадцать пять: кожа натянута на скулах, у глаз сухо, губы обветрены.

— Вы ревизор, — сказала она.

— Да.

— Зачем пришли?

— Поговорить с Ветой.

— Это не зачем, — сказала она. — Это с кем.

Возразить было нечего: она ответила ровно на то, что я сказала. Так обычно отвечаю я сама, и встречать это с другой стороны двери было неприятно, как найти свою ошибку в чужой ведомости.

— Вы Рагна Мор, — сказала я.

— Я та, кто здесь живёт. Как меня зовут, написано в Палате. Там же написано, что меня нет.

Из-за её плеча были видны стол с раскроенной шерстью и край дощатой перегородки. За нею мерно шли ножницы. Там работала Вета.

— Мне нужно знать, что вам известно о записях, — сказала я.

— Нам известно, что мы умерли. — Рагна дёрнула плечом. — Вы же читали. Он хорошо пишет, разборчиво.

— Кто вносил записи, я знаю. Мне нужно знать…

— Вы знаете, кто подал. — Она перебила спокойно, без злости, как переворачивают страницу. — Это другое. Вы же бумажная, разницу должны понимать.

Рагна закашлялась сухо, в три толчка, и переждала, не отпуская двери. По тому, как сжала челюсть, я поняла: теперь она злилась ещё и на собственное горло. Ножницы за перегородкой остановились.

— Пусти её на порог, — сказала Вета, не выходя. — Дальше пусть скажет сама.

Рагна отступила ровно на шаг. Я встала на порог, и дверь за моей спиной закрылась сама: петли в этом доме тянули внутрь.

Дальше меня не пустили, и я стала смотреть, раз уж спрашивать вышло плохо.

У двери стояли две пары башмаков, обе рабочие, обе с подбитыми носами. У одной пары каблуки были стоптаны наружу, особенно правый. Сбоку, у ранта, виднелась свежая светлая заплата. Вторая пара была почти новая. На полке лежал вчерашний хлеб, половина каравая,

и нож. Над полкой висела серая карта вдовьего пайка с прорезанными клетками, рядом — жёлтый квиток на выход через речную заставу. На обоих отметки шли по неделям.

Я задержала взгляд на узких каблуках. Рагна заметила и придвинула к двери корзину с обрезками.

— Входите или уходите. Чего считать?

— Боюсь начать с неверного вопроса.

— Начните с любого. Мы поправим.

Паёк на одно лицо, один выход в неделю. Я отвела взгляд от карточек.

— Я хочу узнать, что случилось с вами до записей и после, — сказала я. — И какие бумаги вы сохранили. По Палате получается, что вас вообще не было, а я уже проверила церковную книгу: ваших погребений там нет.

— И без неё обошлись бы, — сказала Рагна. — Мы здесь.

— Да. Но там поверят книге раньше, чем вам. Я собираю то, что смогу положить перед ними рядом с вами.

Ножницы за перегородкой положили на стол. Вета вышла.

Я видела её один раз, в конторе, в мокром плаще. Без плаща она оказалась ниже ростом и шире в плечах, в сером платье, с сантиметром на шее и булавками в вороте, головками вверх. На меня она посмотрела так, как смотрит закройщица на чужой отрез: сколько выйдет и где брак.

— Снимите обувь, — сказала она. — Пол мыт.

Это и было приглашением.

* * *

Кухня была за перегородкой: печь, стол, лавка и дверь во двор, приоткрытая на палец после стирки. Во дворе сушилось чужое бельё с метками прачечной. Вета налила мне воды. Кружку пришлось придержать за край: глиняная ручка была треснута.

— Спрашивайте, — сказала она.

— Вы можете лечиться?

— Нет. Лекарь записывает больного в книгу участка, книгу проверяет Палата. Покойного в книгу не впишут, а если впишут, через месяц к лекарю придут спросить, кого он лечил. Лекарь не хочет, чтобы к нему приходили.

— По чужой бумаге?

— Я купила бумаги настоящей вдовы. По ним мне пятьдесят восемь лет, — сказала Вета. — У женщины, по чьей бумаге я живу, трое детей, и они получают за мать. Если я лягу к лекарю, он увидит, что мне не пятьдесят восемь. Тогда пенсию снимут с детей. Я не лягу.

— Уехать?

— Выезд даёт Палата. Покойным не даёт.

— Жалоба?

— Жалобу подаёт лицо. — Она говорила ровно, тем голосом, каким в Палате зачитывают отказ, и от этого было хуже, чем если бы она плакала. — Лица у нас нет. У меня есть лицо женщины, которая умерла по-настоящему, у Рагны нет никакого. Рагна живёт при мне родственницей без бумаг: это законно, пока никто не спросит, чья она родственница. Спрашивают редко, и мы стараемся, чтобы не было повода.

Рагна стояла у печи, спиной к теплу, и мешала что-то в горшке. Мешать там было нечего, вода ещё не закипела.

— Во вчерашнем листе вам тридцать один, — сказала я Вете. — На дату смерти. Сейчас тридцать четыре?

— Да. Могу показать метрику.

— Покажите, пожалуйста.

Рагна поставила ложку на край печи.

— Мне двадцать пять. Там двадцать три, запись сделана полтора года назад. Запишите и больше вслух не складывайте.

— Хорошо.

— Мы не ведомость.

Я опустила карандаш. Мне хотелось объяснить, почему без точных чисел нельзя проверить листы. Вета уже открывала ящик за её спиной; метрику она хранила рядом с нитками, завёрнутую в кусок клеёнки. Ей не нужно было объяснять цену точности. Вета развернула метрику и положила передо мной; я переписала дату, после чего она убрала её в клеёнку.

— Простите, — сказала я Рагне. — Я привыкла читать вслух, чтобы находить ошибку. Буду спрашивать по одному.

Она хотела ответить, но закашлялась, длиннее, в пять толчков, с паузой между третьим и четвёртым, когда казалось, что всё. Она отвернулась к печи и упёрлась ладонью в тёплый кирпич. Вета подождала, пока кашель кончится, налила воды во вторую кружку и поставила её на край стола, ближе к Рагне, но не подала в руки.

— Она кашляет дольше, чем мертва, — сказала Вета. — Это вы хотели спросить.

— Сколько?

— Два года, — сказала Рагна в печь. — Почти. Начала в первый месяц, как вошла в тот дом. Думали, сырость. Там сырость.

Я записала оба числа рядом: кашель начался раньше записи. Вверху поставила вопрос о первом месяце в доме. Карандаш туго шёл по сыроватой бумаге. Писала я правой рукой, придерживая блокнот левой, и манжета поехала вверх. Я поправила её раньше, чем она дошла до полосы.

Вета это видела.

— Что у вас там? — спросила она.

— Манжета.

Она чуть приподняла бровь. Я сказала глупость и могла бы её исправить, просто показав руку. Вместо этого подтянула рукав. Вета не стала спрашивать второй раз.

Потом она положила руки на стол ладонями вниз.

Я видела их и в конторе: тонкая кожа, вены, мелкие трещины. Вета разгибала пальцы, и кожа на тыльной стороне не сразу расправлялась. На двух суставах держалась припухлость. Мне казалось, так могли выглядеть руки лет в пятьдесят, хотя по виду возраста не установишь.

Я положила свои рядом. Мне было тридцать пять, ей тридцать четыре. На моих остались чернила под ногтем, которых я не отмыла вчера; под левой манжетой пряталась новая полоса. Я хотела отодвинуть руку и оставила её на месте.

— Иглу раньше держала легко, — сказала Вета. — Теперь долго не держу. Меняю пальцы, потом помогает Рагна.

— С какого времени?

— С первых месяцев в доме. — Она убрала руки со стола. — Сначала сон: спала, а утром всё равно не могла встать. Потом руки.

— После ухода стало лучше?

— Я ушла в конце лета. Ещё несколько недель делалось хуже. А после той осени перестало. Быстрее больше не старею. Только то, что уже отнято, не вернулось.

— Вы узнали о записи тогда же?

— От аптекаря. Пришла за мазью, он полез в список и не дал. Сказал, что на моё имя уже ничего нельзя отпускать. Я сперва решила, у него ведомость чужая.

Она взяла нитку с воротника и скатала между пальцами, пока та не оборвалась.

— Он даже не предупредил, — сказала Рагна. — Я тоже узнала не от него.

Вета посмотрела на неё, и Рагна замолчала. Я записала аптекаря и попросила назвать неделю. Вета не помнила точно, но отказ внесла в тетрадь, рядом с работой, которую делала в тот день.

* * *

Вода в горшке всё-таки закипела, и Рагна сварила в ней крупу на троих, не спрашивая меня. Ели молча. Крупа обжигала язык. Я съела всё: отказываться от еды, которой мало, хуже, чем есть её.

Свет за шторой посерел. Во дворе Вета сняла чужое бельё и сложила в корзину углами внутрь, чтобы метки не путались. Потом ушла за перегородку и вернулась с плоской жестяной коробкой из-под чая.

В коробке лежали две копии записей брака, перевязанные портновской тесьмой. Я проверила имена и пометки о подписях; самих подписей копии не сохраняли. Под ними лежала тетрадь в клеёнке, разбухшая от сырости.

В тетради Вета раз в неделю отмечала руки и сон, позже появился Рагнин кашель. Между строками попадались дела: отказ у аптекаря, первая покупка хлеба по чужой карте, ремонт башмаков. Некоторые недели были пропущены. Сначала она описывала каждый новый болезненный сустав; дальше писала в основном «без перемен». У Рагны менялись ночи, когда кашель давал спать, но новые жалобы давно не прибавлялись.

Я показала ей две страницы, разнесённые почти на год.

— Здесь одинаково?

— Я не забывала записать, — сказала Вета. — Так и было. Руки ни лучше, ни хуже. Сломанное само не чинится.

Я не стала выводить из этого причину. Рагна подтвердила: после той весны кашель оставался, но хуже не делалось. Между началом болезни и записью оставались месяцы, о которых нужно было спросить Тибо.

— Возьмите, — сказала Вета. — Копии и тетрадь. Перепишите, верните.

— Верну.

— Одно условие.

Я закрыла тетрадь и положила на неё ладонь.

— Если выяснится, что виноват он, — сказала Вета, — не по бумаге, а по делу виноват, — дело идёт в суд. Вы его не прикрываете. Ни уставом, ни молчанием, ни тем, что вы теперь записаны в его доме.

О доме я ей ещё не говорила. Вета заметила мой взгляд и кивнула на двор.

— У красильщика работница была в Палате. Регистрации не таят.

— Я буду писать то, что проверила, — сказала я.

— Это не ответ.

Я посмотрела на её руки поверх тетради.

— Если найду основание для обвинения, не задержу бумаги. Ни из-за брака, ни из-за платы. Напишу предел своей проверки и подпишу.

Вета кивнула и убрала руку с тетради.

— А если мне суда не нужно?

Рагна стояла у двери во двор, держась за косяк, и говорила тихо, чтобы не разбудить кашель.

— Отдать его под суд я тоже хотела, — продолжила она. — Он вписал меня в мёртвые и спать пошёл. Я узнала, что меня нет, от красильщика: принесла окрашенную ткань и хотела получить плату, а мне говорят — платёжной записи на вас не открыть, вас в списке живых нет. Двадцать три года, и в списке живых нет. Только мне не месть нужна, мне имя. Чтобы меня звали Рагна Мор и чтобы это было написано, чтобы я могла пойти к лекарю под своим именем. Пусть он хоть сто лет живёт на своём кладбище. Имя. Больше ничего.

— Рагна, — сказала Вета.

— Ты хочешь суда, ты и подавай. Я хочу имя.

— Можно требовать отмены записи без обвинения в преступлении, — сказала я. — Это разные требования. Но подпись на ходатайстве сама по себе имя не вернёт. Придётся подтвердить, кто вы, и показать, почему запись неверна.

— Я вам для этого недостаточно живая?

— Мне достаточно. Для Палаты я возьму метрику и вашу прежнюю запись о браке. И ваши слова. Не только слова Тибо.

Рагна взглянула на тетрадь. Вета положила на неё свои две копии.

— Он говорил, так будет лучше, — сказала она. — Вы так не говорите. Скажите, что собираетесь делать.

— Сначала подготовить протест от своего имени. У меня теперь есть право довести его до заседания без нового разрешения Тибо. До заседания тридцать пять дней. Если узнаю, что отмена принесёт вам вред, сначала приду к вам. Решать за вас, пока вас нет рядом, я не буду.

Вета чуть кивнула. Рагна достала свой лист, сложенный до размеров ладони, показала мне дату рождения и снова убрала его в ящик. Я записала день и год рядом с Ветиным возрастом. Метрики они оставили у себя.

Обулась я у порога, там же, где разувалась; мытый пол холодил ступни через чулки. Тетрадь и копии я убрала между картонными обложками. Коробку Вета оставила у себя. Вета заворачивала оставшийся хлеб в холст. Рагна обулась и ушла во двор. Правый башмак лёг на порог наружным краем; светлая заплата у ранта скрылась под корзиной. Я вспомнила песчаные отпечатки на лестнице у смотрителя и опустила глаза к портфелю. Это мог быть тот же каблук. Кто повернул зеркальце и как открыли мой замок, из такого сходства не следовало. Во дворе она снова закашлялась.

Штора у второго окна, того, что во двор, была задёрнута неплотно. За ней на гвозде висело платье.

Маленькое, на девочку лет пяти. Голубая шерсть, хорошая, не из чужих обрезков. Ворот обшит белым кантом, на подоле защипы. На локтях и сгибах ткань была ровная, неношеная. Под платьем стояла коробка с пуговицами; на крышке лежала бумажная выкройка, несколько раз разглаженная по сгибам.

Вета увидела, куда я смотрю.

— Это не заказ. И я его не перешиваю.

Она сказала без злости, но холст с хлебом подтянула к груди, как будто я потянулась к платью рукой. Я отвернулась. Мне не требовалось выяснять всё в этом доме до вечера, хотя на службе я очень ценила за собой именно такую способность.

— Спасибо за крупу, — сказала я.

— Не за что. Она по карте.

* * *

В лодке обратно нас было пятеро, и лодочник считал меня как человека: портфель стоял у меня на коленях. Город на том берегу не показывался до середины реки, а потом проступил сразу весь, фонарями, как проступают чернила, если подержать лист над свечой.

Я открыла блокнот на коленях, на портфеле, и писала, пока было видно.

«Шестой день. Вета, 34, при записи 31. Рагна, 25, при записи 23. Вета узнала от аптекаря; Рагна — от красильщика. Начало болезни у обеих — в доме, до записей. Ускорение прекратилось после записей, повреждение осталось. По тетради проверить даты.

Получено: две копии записей брака, тетрадь Веты. Переписать и вернуть.

Условие Веты: не задерживать обвинение, если найдутся основания. Рагне нужно имя и лечение. Я обещала советоваться до действия, которое может причинить вред».

Отдельно пометила башмак Рагны: наружный край каблука, светлая заплата. Дальше карандаш остановился. Детское платье я не стала заносить в перечень улик. Его никто не прятал от меня, и всё-таки я чувствовала себя так, словно заглянула в закрытый ящик.

Я перевернула страницу и увидела вчерашнюю фамилию, переписанную из караульной книги. Мои чернила остались чёрными. Я провела под ней прямую черту, но следующую строку начать не смогла.

Лодка ткнулась в причал, и сваи глухо отозвались под водой. Я убрала блокнот, застегнула портфель и, выходя на скользкие доски, впервые за день расстегнула левую манжету. При фонаре полоса была на месте, шириной всё в те же три деления.

На сходнях я обернулась: за рекой зажгли огни, и один горел в третьем доме от причала, за шторой из небелёного полотна. Лодочник сказал, что за простой берёт, и я пошла в город.

Глава 7. Уплачено городу

Тетрадь Веты я переписала в конторе к полудню седьмого дня. В ней было три года, по строке на неделю: пятна на руках, суставы, кашель Рагны. Вета помнила каждое ухудшение. Последние записи были короче первых; иногда неделя оставалась пустой, и я сохраняла пропуск, не дорисовывая удобного ряда. Я дважды начинала выписку заново: сперва оставила только числа и увидела, что опять сделала из человека сводку. Копия легла в портфель, тетрадь в ящик под ключ. Ключ я повесила на шнурок под воротник, где он скоро нагрелся и перестал о себе напоминать, и поехала на кладбище при старой стене.

Тибо колол у сарая растопку. Полено он ставил на колоду, смотрел на него так, будто договаривался, и разваливал одним ударом на две равные части, а потом каждую ещё на две. Щепа ложилась ровно, как цифры в хорошей ведомости.

— Сегодня возьму караульную книгу за четыре года, — сказала я. — Нужно всё, включая поля.

Он поставил следующее полено.

— Она на столе.

— И останется там?

Он посмотрел на меня поверх полена.

— Останется.

Я могла читать в любое время: это мы внесли в подряд. Он не предлагал пересмотреть условие, а я всё равно проверила. Топор опустился. До вечера я разложила выписки по годам и переписала на отдельный лист номера полученных в Палате записей. Вчерашний день провела за рекой. Обещанный разговор о семейном столбце откладывать дальше не собиралась.

* * *

Караульня стояла у ворот, низкая, в одно окно, с печью, которую топили от сырости, а не для тепла. Когда я села читать, печь уже гудела, и от неё пахло мокрой берёзой. На столе у окна лежала книга. Рядом горели две свечи, третья, целая, стояла на блюдце. Свечи он поставил слева от книги, где моя рука не закрывала бы свет. Я подвинула одну чуть дальше: кожа на запястье тянула после щётки, и жар я чувствовала сильнее обычного.

Из-под переплёта торчала полоска бумаги. Я открыла по ней и попала на первый день после Поворота года, три года назад. Он выбрал год первой записи о смерти. Меня интересовал и предыдущий, но закладку я оставила: мог заметить в книге то, чего я ещё не знала.

— Не выносить, — сказал Тибо от двери. — Не править.

— Я не правлю чужих книг. Я их читаю.

Он кивнул, снял с гвоздя фонарь и ушёл в обход. Дверь прикрыл не до конца, оставил щель в ладонь, и из неё тянуло холодом по щиколоткам.

Книга была большая, в досках, обтянутых кожей. Медные уголки стёрлись до красного. Ранний пергамент держался жёстко, поздние бумажные тетради мягко распадались под рукой. Одну из них меняли: старые отверстия от нитки остались рядом с новыми. На корешке лежала тканевая полоска, чтобы листы не перетирались о кожу. Я положила на неё ладонь, придерживая тяжёлый том.

Четыре группы почерков, которые я различила в первый вечер, при хорошем свете распадались на отдельные руки. У преемников буквы оставались прежними, а цифры менялись. Крупные завитки на ранних листах, острые наклонные строки, круглая, почти детская пропись. На заменённых страницах стояло мелко: «С ветхого листа, сверено». Я отмечала такие места на отдельном клочке: с копии нельзя требовать того же, что с подлинника. Последние шестнадцать лет шли рукой Тибо. В домашней книге он писал без наклона, размеренно, как в оставленной Вете статье.

За последние четыре года промежутки между строками стали теснее. Он давил на перо, и в косом свете на обороте поднимался рельеф букв. В одном месте бумага прорвалась на нижнем конце цифры; сверху лежала узкая подклейка. Я повернула страницу за целый угол.

Граф было шесть: число, обход, участок и ряд, имя, кем принесён, отметка. В Палате их было бы на три больше и на две подписи. Здесь подпись стояла одна, внизу каждого месяца, и месяц был не тот.

Книга считала год от Поворота. Палата вела общий городской счёт; здесь первый месяц начинался осенью, и число без названия месяца легко уводило на соседний год. Я нашла на обоих листах одну и ту же починку ограды, приложила к ней дату из квитанции и только после этого разлиновала бумагу для сверки. Ошибиться на год, считая чужие дни, мне не хотелось.

Потом пошло легче, строка за строкой, день за днём. «Обход. Тихо». «Обход. Тихо. Ограда у восьмого ряда». «Обход. Тихо». Он писал каждый день, без пропусков, даже в те ночи, когда, по моей прикидке, лил дождь. В одной такой строке чернила расплылись, и строку всё равно дописали до конца. Мне это понравилось больше, чем хотелось бы. Человек, который пишет «тихо» под дождём, не пропустит и шума. Правда, доказывало это только одно: смотритель аккуратен. Это я знала и без книги.

На полях старые смотрители вели свои столбцы. Тот, что с кляксами, считал за месяц принятых и выбывших. Другой ставил против каждого погребения сумму пошлины и сводил её внизу листа, ошибаясь на медяк, и за много лет эту ошибку никто не исправил. Я её нашла и тоже не исправила: книга не моя.

В графе погребённых за последние четыре года не было никого. Это я уже проверила по караульной книге; церковная за просмотренные годы не возражала. Пустые клетки шли ровно, неделя за неделей, как пустые места в зале, когда всех уже вызвали. Я их пересчитала, чтобы руки были заняты.

На последней строке года, в ночь Поворота три года назад, в отметке стояло: «Доля уплачена городу».

Ни суммы, ни имени того, кто принял, ни его подписи. В книге, где даже ограду у восьмого ряда отмечали с номером, эта строка зияла, как дыра в сукне.

Я перевернула на год вперёд. Последняя строка года, ночь Поворота: «Доля уплачена городу». Ещё через год то же самое, теми же буквами и на том же месте, словно строку перекладывали с листа на лист. Три года, три строки. В предыдущую ночь Поворота стояло только «Обход», без «тихо». Там, где на других листах он приписывал к строке расход, в тот год оставалось пусто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.